ДОН_новый 14/2

Литературно-художественный и общественно-политический журнал. Орган Союза писателей России, министерства культуры Ростовской области и Ростовского регионального отделения Союза писателей России

Главный редактор Г.В. Студеникина

Общественный редакционный Совет:
А.Г. Береговой, Ростов-на-Дону
А.И. Глазунов, Сальск Ростовской области
Н.И. Дорошенко, Москва
Г.В. Иванов, Москва
И.С. Капаев, Черкесск
И.Н. Кудрявцев, Ростов-на-Дону
В.И. Лихоносов, Краснодар
А.Н. Можаев, Можаевка Ростовской области
Б.А. Орлов, Санкт-Петербург
Е.Е. Пиетиляйнен, Петрозаводск
Г.Т. Селигенин, Ростов-на-Дону
Н.М. Скрёбов, Ростов-на-Дону
Б.М. Стариков, Тихорецк Краснодарского края

Учредители: Союз писателей России
Ростовское региональное отделение СП России

Журнал выходит при поддержке министерства культуры РО

Попечительский Совет:
И.И. Переверзин, Литературный Фонд России
В.В. Свитенко, ОАО «Южтехмонтаж»
Б.М. Стариков, ООО «Пламя»
Н.Н. Грищенко, ООО «Сплав-Алексеевское»
А.Г. Береговой, ООО «Издательство «Донской писатель»
А.А. Ковалевский, СФ «Волгодонскэнергострой»

Издатель: ООО «Издательство «Донской писатель»

СОДЕРЖАНИЕ:

К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

Виктор Шостко. *Дорога на Машук.* Стихи. 3
Людмила Малюкова. *«Из пламя и света рождённое слово»*. Эссе. 5

ЮБИЛЕИ

Виктор Шостко. *Становится мной.* Стихи. 8
Иван Кравченко. *Единоличники.* Отрывок из романа «Борозда». 11
Юрий Ремесник. *На старом пороге.* Стихи. 14
Надежда Васильева. *Четвёртое измерение.* Рассказ. 17
Николай Переяслов. *Бессмертный воин.* Стихи. 26
Вячеслав Зименко. *Сад. «Виват, Академия!»* Эссе. 30
Дмитрий Ханин. *С Байконура.* Стихи. 37

ПРОЗА

Алексей Береговой. *Красные огни.* Повесть. 59
Татьяна Грибанова. *Мальва.* Рассказ. 145
Ксения Баштовая. *Партия.* Рассказ. 156
Светлана Вьюгина. *Морские рассказы*. Цикл рассказов для детей. 160

ПОЭЗИЯ

Борис Орлов. *Не винись.*Стихи. 35
Галина Студеникина. *«Я — Бог, я — свет».* Стихи. 57
Виктория Можаева. *Мне ли бояться?..* Стихи. 142
Александр Винничук. *Кипень белая.* Стихи. 154
Ольга Губарева. *Рыбалка.* Стихи для детей. 159

«КРУТОЯР»

Михаил Шолохов. *Родинка.* Рассказ. 42
Борис Куликов. *Это я хожу — пою.* Стихи. 48
Наталья Самоходкина. «*Прекрасен наш Союз».* Очерк. 51

ББК 96(2Рос-Рус)72
Д-141
ISBN 978-5-87612-113-4

Литературно-художественный
и общественно-политический журнал
«ДОН_новый» № 2(6), ноябрь 2014 г.
Издатель: ООО «Издательство «Донской писатель»
Над выпуском работали:
Анистратова В.И., Баштовая К.Н., Береговой А.Г.,
Малов П.Г., Селин В.В., Студеникина Г.В., Ханин Д.И.
Художник Никулин М. Н.
Директор издательства Береговой А.Г.
Тираж 950 экз.т.ф. 8-918-599-67-51; 8-988-567-43-95;
8-918-854-80-59.
e-mail: don_new@rambler.ru

Журнал
«Дон_новый»
распространяется на территориях России и стран СНГ

***

Содержание журнала не всегда отражает точку зрения редколлегии на затронутые авторами темы.

***

За точность имён, фактов и цифр ответственность несут авторы.

***

Редколлегия оставляет за собой право не разъяснять авторам причины отказа в публикации их произведений.

***

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

***

Все произведения в журнале публикуются пока на безгонорарной основе. Авторам предоставляются бесплатно по 2 номера журнала (с их публикациями). Присыл авторами своих произвелений для печати в журнале **«Дон_новый»** считается их согласием на безгонорарную публикацию.

Условия набора и присылки литературных материалов в журнал «Дон_новый»

Свои произведения авторы присылают в журнал только электронной почтой по адресу: **don_new@rambler.ru** в программе **«WORD»** без макетирования и архивирования.

***

Рукописи для публикации в журнале **«Дон_новый»** принимаются только при соблюдейний следующих правил набора:

1. Обязательное использование в наборе буквы «ё».
2. Не допускается использование знака «дефис» (-) или знака «нижнее подчёркивание» (_) вместо знака «тире» (—) и наоборот.
3. При наборе прозы необходимо использовать длинный знак «тире» (—), при наборе поэзии короткий (–).
4. Не допускается установка абзацев текста при помощи кнопки «табулятор».

Рукописи, не соответствующие условиям набора, рассматриваться не будут.

***

По вопросам подписки на журнал **«Дон_новый»** обращаться по адресу: 344002, Ростов-на-Дону, ул. Суворова 10, ООО «Урал-пресс-Юг», тел. 8(863) 269-84-00; 269-44-33; 244-12-12; 240-92-15.

Возложение цветов к бюсту М.Ю. Лермонтова в Ростове-на-Дону

200 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова

ДОРОГА НА МАШУК

У кого-то на глазах,
Молча, выехал из дому.
Заклубился следом прах
По пути навстречу грому. –

Ожидали наверху.
Прах по следу завивался…
У кого-то на слуху
Долго топот раздавался.

Провожали силуэт
До земного поворота,
С тайной думой или нет,
Незакрытые ворота…

Не за горы и моря
Поторапливал поручик,
А точнее говоря –
Нервной молнии попутчик.

Позабыли взгляд и слух,
Как, не вняв тревоге птичьей,
Проскакал небесный дух
В примелькавшемся обличье…

Ты увидишь, тронув дверь,
Рамой схваченную внешность
И понятную теперь
Ядовитую поспешность.

Виктор Шостко, член Союза писателей России

«ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА РОЖДЁННОЕ СЛОВО»

Два великих имени стоят у истоков русской поэзии: Пушкин и Лермонтов. Казалось бы, после гибели первого российского поэта появление рядом с ним другого, гениального, почти в одно и то же время невозможно. Но Лермонтов возник как-то неожиданно и бескомпромиссно: стихотворение «На смерть поэта» сделало его имя мгновенно знаменитым. Николай I, получив по почте столь бесстрашно дерзкое откровение с пометкой «призыв к революции», занёс его автора в чёрный список самых неблагонадёжных россиян. Сегодня, перечитывая этот «железный стих», в котором сопряжено столько боли, «горечи и злости», едва ли наш пытливый современник почувствует в нём зловещее слово «революция». Скорее — призыв к мести, обращённый к праздной и своенравной «толпе», к надменному, подлому «свету», приведших российского гения к смертельному барьеру. Но напуганный Декабрьским восстанием 25 года император воспринял стихи, прежде всего, как мятежную крамолу государственного масштаба, став до конца краткой жизни поэта его непримиримым «оппонентом». Не потому ли время от времени и в наш смутный век появляются ничем не подкрепленные гипотезы о заранее спланированном убийстве Лермонтова? Но не было никакого тайного заговора ни со стороны Николая I, ни — Бенкендорфа, ни даже бывшего товарища по юнкерскому училищу Мартынова. Сама атмосфера российской жизни оказалась враждебной творчеству поэта, с его обострённой независимостью, открытостью и мятежной «одинокостью». М.Цветаева причину гибели А.Пушкина увидела в «отсутствие воздуха», которое перекрыло дыхание творцу. Очевидно, это определило и судьбу Лермонтова.

С равнодушием смотрел российский культурный мир, как в юном поручике зреет великий русский поэт. Московские славянофилы восторженно отнеслись к его «Песне про купца Калашникова…», как воплощению истинно народного духа, но совершенно не приняли «Героя Нашего Времени», «безнравственного» Печорина, этот портрет, *«составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии»*, почувствовав в нём покушение на национальную личность. Не сложились отношения и с поэтами пушкинской плеяды Вяземским и Жуковским, и даже с элитарным салоном Карамзиных, где собирался весь цвет литературно-художественного мира: рефлектующе-пессимистический взгляд лирики Лермонтова ему был чужд и непонятен. И, пожалуй, немногим исключением стали «Отечественные записки» Краевского, особенно с 1839 г., когда критический отдел в них возглавил В.Белинский, воскликнувший после встречи с Лермонтовым: «О, это будет поэт с Ивана Великого!» И невольно возникает беспокойная мысль: как случилось, что в России «не уберегли» ни Пушкина, ни Лермонтова? Какие бы великие открытия они совершили, обогатив литературную сокровищницу России, не прервись их жизнь на 26 и 37 году? Оригинальный ответ на первый вопрос в своё время «высказал» поэт серебряного века М.Волошин, отозвавшись на гибель Н. Гумилёва и смерть А.Блока: «Тёмен жребий русского поэта:/ Неисповедимый рок

ведёт/ Пушкина под дуло пистолета,/ Достоевского на эшафот./ Может быть, такой же жребий выну,/ Горькая детоубийца — Русь!/ И на дне твоих подвалов сгину,/ Иль в кровавой луже поскользнусь,/ Но твоей Голгофы не покину,/ От твоих могил не отрекусь».

Судьба, рок, мятежное одиночество, грусть, тоска, печаль и скука жизни, от которых нет ни спасения, ни забвения, — такова трагическая карта мира поэта, жизнь которого оборвалась так нелепо в 26 лет не на поле брани в жестоком бою, что, казалось, было бы свойственно его мужественной и героической натуре, не от «чеченкой пули», как погиб один из его героев, и даже не от руки французского поданного де Баранта, защищая своё национальное достоинство, а — старого товарища с холодным равнодушием наведшим пистолет.

Но вот что удивительно, чем дальше по времени от нас М.Лермонтов (200 лет — такое огромное расстояние!), тем ближе, острее его поэзия непредсказуемому и трагическому XXI веку. Перед нами неодолимо мерцает образ лермонтовского потерянного поколения, вызывая ассоциации и с нашим «сегодня»: «Средь бурь пустых томится юность наша/ И быстро злобы яд её мрачит,/ И нам горька остылой жизни чаша;/ И уж ничто души не веселит». А с ним возникает и тревожный вопрос о времени грядущем: что впереди? Какое непредсказуемое будущее судьба готовит поколениям «промотавшихся отцов»? Предсказания Лермонтова неутешительны и мрачны. Одно за другим следуют откровения: «Гляжу назад — прошедшее ужасно./ Гляжу вперёд — там нет души родной», «Нет! Все мои жестокие мученья —/ Одно предчувствие гораздо больших бед», «Гляжу на будущность с боязнью./ Гляжу на прошлое с тоской», «Печально я гляжу на наше поколенье./ Его грядущее иль пусто, иль темно»… И совсем уже угаданное, сбывшееся пророчество, — грянувшее через многие десятилетия, кровавым переворотом 1917 года: «Настанет год, России чёрный год,/ Когда царей корона упадёт./ Забудет чернь к ним прежнюю любовь,/ И пища многих будет смерть и кровь,/ Когда детей, когда невинных жён/ Низвергнутый не защитит закон…» В таком безысходно трагическом пространстве и удел поэта, его страдание воспринимается как неизбежная закономерность, как щедрый подарок судьбы («Что без страданий жизнь поэта?/ И что без бури океан?» «Он хочет жизнь ценою муки,/ Ценой томительных забот»). — Оно дороже и выше всех испытанных благ мира, а потому: «В награду требуй жизнь мою./ Но, друг мой, не проси былого./ Я мук своих не продаю».

Однако, что же светлого и радостного испытывает поэт в этом жестоком и горестном мире в столь юном возрасте? — Весьма немного. Он гордится героическим прошлым, «могучим и лихим племенем», ставшими в рост с былинными богатырями и отстоявшими честь и славу России на полях сражений («Бородино»); хранит в сердце «странное» чувство любви к Родине, её проселочным дорогам, перелескам, разливам рек, к дымку спалённой жнивы, и даже к крестьянской избе, покрытой соломой, и «чете белеющих берёз» на холме средь жёлтой нивы. Тайной веет от его захватывающей любви и наблюдательности к народным празднествам, когда он «смотреть до полночи готов/ На пляску с топаньем и свистом/ Под говор пьяных мужичков» («Родина»). Его взор обращён к чарующему космическому пространству; он заворожён им («В небесах торжественно и чудно! Спит земля в сиянье голубом»), и даже слушает разговор небесных светил («И звезда с звездою говорит»). Поэта пленяет могучая и гордая природа Кавказа. Всё это, как и немногое другое, конечно, вносит светлый луч в поэзию «тоски и печали». Однако, при всём при этом ни на миг не покидает какое-то всеобъемлющее трагическое чувство, овладевшее художественным миром Лермонтова. Лишь загадочный парус, маячивший на далёком туманном горизонте, предвещает, будто бы, нечто светлое, идущее к покою поступью мятежа. Но слишком туманен и неопределенен его символ («Белеет парус одинокий»).

И как-то невольно возникает сопоставление творчества двух великих поэтов. Пушкин искал совершенства; не боясь жизни, стремился создать в ней свой неповторимый гармоничный мир, светозарный и дивный. В 22 года, написав печальное откровение «Я пережил свои желанья,/ Я разлюбил свои мечты./ Остались мне одни страданья,/ Плоды сердечной пустоты», он пополнял свою поэтическую панораму целой гаммой светлых излияний («Скажите мне: кто видел край прелестный,/ Где я любил, изгнанник неизвестный?») Высказав в «Цыганах» философский вердикт «И от судеб защиты нет», он постоянно его опровергал, противопоставив в итоге кантовский императив «Самостоянье человека — залог величия его».

Не то у Лермонтова: нет у него любви счастья, любви радости и надежды, нет и раздолья на пиру жизни. Его лаконичные западающие строки словно обжигают холодной неопровержимостью: «Любить… но кого же?... на время — не стоит труда,/ А вечно любить невозможно./ В себя ли заглянешь? — там прошлого нет и следа:/ И радость, и муки, и всё так ничтожно»… И, как обобщение, подводящее всему черту, за которой, кажется, уже ничего не остаётся, кроме нисходящей бездны: «И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, —/ Такая пустая и глупая шутка…» Но почему вот уже почти два века нас не покидает муза поэта? Отчего мы так настойчиво и преданно обращаемся к ней, «вбираем» в себя её горькие страницы, улавливая в них что-то близкое и тревожно созвучное нам? Не от того ли, что поэт так беспощадно и остро затронул самые нервные и скрытые струны нашей ранимой души и заставил задуматься, пережить то, что казалось таким уязвимым и недосягаемым для постороннего взгляда? И напрасны были бы поиски ответов у Лермонтова на самые беспокойные вопросы времени. — Его ответ, один на всё, в предисловии к роману «Герой нашего времени»: «Будет и того, что болезнь указана, а как её излечить, — это уж бог знает!» Но «лечит» слово, рождённое «из пламя и света». Оно не поддаётся холодному рассудку, едва ли можно его объяснить и аналитическими изысками. Оно переживаемо и чувственно, как сформулировал поэт: «Есть речи — значенье/ Темно иль ничтожно,/ Но им без волненья/ Внимать невозможно». Это трагически волнующее слово не закреплено временем: оно бессмертно. А потому, как «вечное знамение», как неиссякаемый источник высокого и неисчерпаемо ценного, и в наш жестокий век катастрофических потрясений Лермонтов опять выходит на дорогу, серебряными шпорами звеня (Г. Иванов).

Людмила Малюкова, член Союза писателей России,
доктор филологичесих наук

«Домик М.Ю. Лермонтова» в Пятигорске

Виктор Шостко

СТАНОВИТСЯ МНОЙ…

***

К тропинке заброшенной тянет.
Задетая ветка отпрянет
И долго качается вслед.
И под ноги сброшенный ворох,
Меняющий шёпот на шорох,
В свершившемся ищет ответ…

К тропинке заброшенной тянет,
Где нищее золото вянет,
А свет наполняется мглой.
Направо свернёт ли, налево –
Там каждое встречное древо,
Прощаясь, становится мной.

РЕВНОСТЬ

Ты полюбила б скрипача,
Я знаю, нет, не за улыбку.

Шостко Виктор Иванович, член Союза писателей СССР (1989), России, поэт. С 2011 года — член правления Ростовского регионального отделения СП России. Окончил РИИЖТ в 1970 году. Автор книг стихов: «Молодое лето», «Бегущее зеркало», «Четвёртая стрелка». Живёт и работает в Ростове-на-Дону.

За то, что сердце у плеча
Он держит, выгнутое в скрипку.
За то, что вас венчает звук.
И вы, не зная друг о друге –
Вне встреч, прощаний и разлук
Одни, одни во всей округе.

***

Не говори. Не надо слов.
Всё, что ни скажешь – всё фальшиво.
Тебе отныне хватит снов,
Перетолкованных счастливо. –
Не тем богатством я богат.
Не тою бедностью я беден.
И не от тех предчувствий бледен…
Вот в этом я и виноват.

РАСКОЛЬНИКОВ

Предчувствие краха – способность терзаться.
Но мысль, заострённая, как долото,
Не в силах с логичным соблазном расстаться
За месяц, за день, за мгновение до...

Безумье – спасенье от собственной мысли,
Когда ты заложник и пленник её.
Абстрактную пользу прикинь и исчисли,
Чтоб в тёмном углу подточить остриё.

Подглядывать станут обычные вещи.
Подталкивать будут. А как возразить?
И вот он выходит, как морок зловещий,
Ведомый заветною мыслью – убить.

И нет ничего, что его остановит.
И нет никого, кто его возвратит,
Пока не увидит он пролитой крови
Ни с чем не сравнимый обыденный вид.

***

Бессонница стала привычкой,
Какою-то жизнью второй:
Надеждой, сомнением, спичкой,
Раскаяньем, дымом, игрой.
Быть может, напрасной и праздной,
Но тем и опасной вдвойне, –
На гласной, согласной, прекрасной,
Мучительно властной струне.

***

Что в судьбе, помимо времени,
Изолгавшегося вдрызг;
Отчужденья, боли в темени,
Крика, падкого на визг;
Околесицы отчаянной
С откровеньем заодно
И надежды неприкаянной,
Обносившейся давно?..

Что в судьбе, помимо совести,
Упразднённой сгоряча;
Возвращающейся повести
И архива без ключа;
Помрачения дотошного,
Киноленты вырезной;
Навалившегося прошлого,
Становящегося мной?..

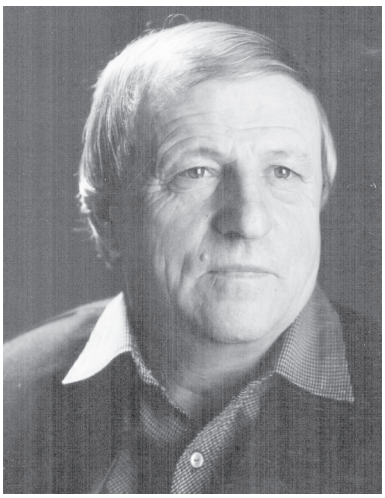
***

Отмерцали степные цветы…
Отболели и выцвели травы.
Неожиданно стали пусты
Небеса, что всегда величавы.

Заблудились в пути облака…
Нет ни с севера вести, ни с юга.
И опять высота высока,
И на цыпочки встала округа.

Жизнь теряет избыточный цвет.
И её обнаженное имя,
Отряхнувшись от ярких примет, –
Беззащитней и необъяснимей…

Иван Кравченко



ЕДИНОЛИЧНИКИ

(Отрывок из романа «Борозда»)

Ожидай своих сыновей с ярмарки, приближавшихся к усадьбе по хуторской улице, старый Кравко подходил бы к массивным воротам, открывал плотно прикрытую калитку, выглядывал бы, топтался на полусогнутых больных ногах, ругался:

— Ну, якого, ото, чёрта оцим ногам ще надо? Ны холодно ж на улици — во яка тыплынь стоить, — а воны болять, заразы... Ну, хоть одирвы их да собакам выбросы.

Правильно Ефросинья, покойная жена старого Кравко, ругала да выговаривала:

— Ны ходы в галошах; воно, хоть ты и в шерстяных носках, а от зымли тянэ. Надынь валянки, хай ногы прогриються, — тода и охать ны будышь.

Не слушался.

Там бы, у калитки, что ведёт на улицу, его видели бы сейчас люди. Тот же Варжелев прокричал бы от своего подворья:

— Ты кого, ото, Григорий Афонасьевич, ждёшь? — Никак, кто должен приехать?

Пришлось бы сознаваться. Нет, он поглядывал на дорогу, ведущую в Гаршино из степи, с тыльной стороны усадьбы. Старый Кравко просил сыновей возвращаться именно этой дорогой. Не хотелось давать Варжелеву лишний повод

Кравченко Иван Яковлевич, член СП России с 1999 года, родился 14 октября 1939 года. Более тридцати лет проработал в Новочеркасских городских газетах «Знамя коммуны», «Донская речь» сразу же после окончания Ростовского государственного университета. Сотни публикаций посвятил истории города, его людям и достопримечательностям, природе, искусству, литературе. Автор книг «У Терновой балки», «Чёрный ворон», «Колючий саман», «Борозда». Живёт и работает в Новочеркасске Ростовской области.

посудачить: да какой, мол, Кравко состоятельный, да, дескать, какой он важный — одет во всё ярмарочное, да какой везучий.

— Був бы вызучий, — проговорил вслух старый Кравко, — як бы ны робыв. И сам роблю, и дитэй заставляю.

Из-за холма никто не появлялся. Однако Григорий Афанасьевич не уходил, терпеливо ждал.

Над Гаршиным, в несколько десятков изб, крытых соломой, а кое-где и железом, проплывали белые облака. Они походили на кибитки кочевых «кыргизив». И тени их скользили по взлобью холма, убегали вдаль. Вот одно облако коснулось солнца, и на землю упали из поднебесья косыми снопами лучи.

— Як на картини. — Не удержался Кравко.

Приставил к бровям козырьком ладонь и ещё раз кинул взгляд к горизонту. Обрадовался: едут!

Донёсся голос удода.

— Уду-ду, уду-ду! — выговаривала птица.

— Вот тоби и «уду-ду», — передразнил старик удода.

Остановился, прислушался.

— Чи гнездо там сделала соби птычка? Нехай, це к добру. — Рассуждал. — Вот если сыч закрычить, того надо прогнать, кажуть, вин несчастье прыносэ...

Ещё раз, теперь уже бодро посмотрел из-под ладони.

«А ты ото, — мысленно обратился к Варжелеву, — стоишь и стой у своего подворья, играл на гармошке и играй дальше на здоровье. Оно тебе надо — кто, куда и зачем поехал? Ну, увидел, что кто-то ожидает кого-то с дороги, ну и пускай ожидает, а то сразу и спрашивать. Много будешь знать, быстро состаришься, слишком хитрым будешь. На чужой каравай рот не раскрывай, голодранец паршивый, подавишься, гляди. Лучше — ото, наведи порядок в своём сарайчике; там чёрт ногу сломает».

Зыркнул в сторону Варжелева. Его у дома уже не было. — «Слава богу! Ушився в хату!»

Старый Кравко участвовал в Русско-японской войне, потерял глаз в 1904 году, значился в списках увечных воинов и носил чёрную повязку.

…Поправил грязноватый тряпичный пятак и моргнул здоровым глазом: ни с того, ни с сего накатилась слеза. — «Собака б и-и забрала!» — Это, наверное, от того, что Варжелев расстроил, а, может, ещё от чего...

В районную Рузаевку на ярмарку ездили сыновья Андрей и Яшка. Возили несколько мешков зерна. Оно, конечно, можно было продать и мукой, так выгодней, — не захотелось волындиться. Прогадали, наверное. Однако уже поздно руками размахивать, съездили. Старый Кравко как бы отмахнулся от чего-то. — «А шо робыть?» — Надо и при Советах как-то жить.

Рузаевка до советской власти была уездной. Там суд был, полицейский участок. Всей житейской суетой ведал исправник. Если приспичит что — к нему. Не только Кравко ездил туда, решал вопросы. И другие обращались. Хороший человек был тот исправник. Кусок сала сунешь, любую бумажку подпишет.

Теперь всё в руках Советов. К ним другой подход нужен. Хотя и им дай что-нибудь — не откажутся. Советы уже несколько лет хозяйничают. Завинчивают по-новому, по-своему. То у них одна выдумка, то другая. Не знаешь, какой и ветер подует, чего и ждать от них можно.

До Рузаевки километров тридцать. А, может, и того не наберётся. Утром ранёнько Андрей с Яшкой поехали, сейчас уже и возвращаются. Скоренько они управились,

быстренько рассчитались с зерном. «Им то шо, абы побыстрей». Будь рядом он, немного иначе было бы всё... Торопко бегут лошадки. Стало быть, порожняком едут, вон как молотят ногами кони, домой хотят, знают: овёс их ждёт.

Яшка стал для Андрея настоящим помощником, вытянулся, возмужал. Возьмёт вилы в руки, подхватит навильник, никто не поднимет. Теперь Яшку хоть в поле, хоть куда посылай, всё сделает, со всем управится. «Парубок» говорят частенько на него, — на девчат посматривает; мать бы хвалилась им, гордилась.

Порадовавшись за младшего сына, старый Кравко снова стал рассуждать о зерне. Не прогадали бы только с ним, оно теперь на вес золота. Да оно всегда держало цену, и обижаться нечего. «Главнэ, шоб урожай опьять був!» На Украине, когда работал на хозяина, мало думалось обо всём. Сейчас же надо самому беспокоиться о хозяйстве. Ох, и далеко ж теперь та Украина. Уже стало и забываться село Грушево, где жили, где остался брат. На Украине родился Андрей, а здесь — Давид, Елена и Яков. И не понять, какое село роднее. Давно перед глазами Гаршино с его огорчениями и радостями, с плохим и хорошим.

— Ну, як съездилось? — встретил Андрея и Якова старый Кравко.

— Нормально! — спрыгнул с брички Яков, — а як ще можэ буть?

— А пусти мешки дэ? — спросил старик, — хиба забулы?

— Привезли! — успокоил отца Андрей. — Як вы, папаша, и балакалы. Ны забулы!

— Вот це по-хозяйски! — довольно потёр руки Кравко. — Цэ и я понимаю — наша, кравковская жилка... Хай Мария их просмотрэ хорошенько, чуешь, Андрий... Я кажу, хай Мария твоя их хорошенько просмотрэ, дэ пидштопае, дэ латку яку положе... Воны нам ще прыгодятся. Хай сложе их... Не, хай значала их вытрусэ, а потом сховае, куда надо! Воны исты не просять, хай лыжать! И почём же вы зерно продавалы?

— Як вы балакалы, папаша, так мы и зробылы...

— Молодци! Распрягайтэ лошадок, хай отдыхають.

Андрей умело отстегнул от уздечек вожжи и ловко намотал их на согнутую в локте руку.

— Ну, стоять! — степенил он отмахивавшихся от слепней лошадей. — Уже дома, щас в конюшню заведу... Або Яшка цэ зробэ, Яшка, дэ ты?

— Я тут!

— Знимай с них хомуты и тащи в конюшню... Напоим, када остынуть.

— Правильно, сынок. — Довольно отозвался старик. — Хай трошки постоять з дорогы. Чи ще хто из нашой Гаршиновки був?

— Не, никого не бачили.

— Ну й хорошо, воно так лучше... Мэньше будуть про нас бовтать.

— Та хай бовтають.

— Не-е, сынкы, лучше, када вас там ны бачилы.

Яшка отнёс хомуты, возвратился, взял за недоуздки воронков и повёл в конюшню.

Андрей обошёл вокруг брички, пнул ногой то одно колесо, то другое:

— Добре вы их, папаша, вымочилы! Ни одна спица не сдвинулась з места, и ободья дэржаться. А дорога плоха: то в гору, то с горы.

— Вымачував же для сэбэ! — похвастался старый Кравко. — Ладно! Ходимтэ в хату! — предложил сыновьям. — А то вы проголодались. Там и побалакаемо!

Он проверил хорошо ли закрыты ворота, и все направились в избу…

Юрий Ремесник

НА СТАРОМ ПОРОГЕ

***

Сестре Алле

Я воспел их всех, песней венчанных,
Благоверных в любой Судьбе…
Новогоднюю нашу женщину
Так легко распознать в толпе. –
Вот идёт она, баба снежная,
По бесснежному декабрю;
Как сберечь ей ладошки нежными,
Если в каждой по сумарю!
И, уж точно, их не косметикой
Загрузил овощной базар…
Чёлка, выпорхнув из-под беретика,
Ей до слёз щекочет глаза. –
Вся домашняя, вся уютная,
Чьей-то радости сладкий миг.
Неприступная.
Недоступная.
Неподкупная для других.

Ремесник Юрий Петрович, член Союза писателей России (2001), поэт. Автор книг стихов «Живая вода» (1977), «В плену любви» (2000) и (2002), «Я с вами поделюсь...» (2004). С 1989 года Ю. Ремесником в соавторстве с певцом и композитором В. Малежиком написано более 160 песен. В 2005 году поэт стал лауреатом творческого конкурса, посвящённого 100-летию со дня рождения М.А. Шолохова. С 1966 года Ю.П. Ремесник живёт и работает в Азове Ростовской области. Он — почётный гражданин г. Азова.

Хоть вязальщица.
Хоть начальница,
Тащит снедь в новогодний дом.
И насмешница,
И печальница,
Знаю, думает об одном:
Не столкнуться бы с пьяной сволочью,
Остальное всё – ерунда…
Ах, заправить бы надо чёлочку,
Да… руки заняты – как всегда.

МАМИНО ПАЛЬТО

Среди модных теперь манто,
Подтверждающих сносный быт,
Твоё старенькое пальто
Сиротливо в углу висит.

Вряд ли кто из колхозных баб
Мог завидовать пальтецу,
Но его грубotканый драп,
Да и цвет, был тебе к лицу.

Замечал ведь и я – малец,
Как, на ласки «телячьи» скуп,
Любовался тобой отец –
Не сходила улыбка с губ.

Как он нежен и светел был,
Когда рядом на Рождество
Шли вы в клуб, где кино крутил
Лейтенантик от ПВО…

Помню всё. Помню каждый миг,
Ставши возрастом старше вас.
Помню твой отрешённый лик
С немотою закрытых глаз.

И завьюженный наш погост,
Обозначивший твой предел,
В день, когда я ослеп от слёз
И от горя душой прозрел.

Когда в злобную ту пургу
Всё бубнил я отцу о том,
Что мамане в таком снегу
Будет холодно без пальто…

Пусть его старомодный стиль
Удивляет гостей моих,
Никогда я не сдам в утиль
Синий драп с твоих плеч родных.

Вновь лютует мороз крутой,
Вьюгой выстужена изба, –
В твоё старенькое пальто
Зябко кутается судьба.

***

Что про это я знал
        той весной, несмышлёныш безусый?
Но мужское начало
        уже бунтовало во мне.
На наивность подружки
        слова нанизал, словно бусы…
И с надеждой её
        я сумел столковаться вполне.

Всё впервые тогда.
        И чужой пересказанный опыт –
Не помощник, когда
        Задыхается страстью висок.
В ту безумную ночь
        громогласно звучал её шепот,
Поцелуями скомканный,
        будто апрельский цветок.

О, беспечная юность,
        чья правда окажется ложью, –
Не от злого ума,
        от незрячего счастья души…
Сколько женщин потом
        провожало меня в бездорожье,
Сколько раз перед ними
        я клятвенной ложью грешил!
И себя растерял,
        обивая чужие пороги.
И все лица забыл,
        только знаю: в последний мой час
Та наивная девочка
        встанет на старом пороге
И не спрячет лицо
        от моих угасающих глаз.

К юбилею писательницы

Надежда Васильева

ЧЕТВЁРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Рассказ

Юлька сидела на диване, как обычно, поджав к подбородку острые коленки. Любимая её поза. А то ещё по-турецки на пол у батареи сядет. И всегда у неё коленки углом. Мама так её и зовёт «мой кузнечик». А «кузнечику» уж тридцать три... День рождения не отмечала, лишь в записной книжке родились новые строчки:

Мне тридцать три...
«Уже!» — бросает колко,
Себя блюдя, встревоженное тело.
Душа: «Конечно, если помнить только,
Что бренно ты, а я — другое дело!»

Задумчиво улыбаясь, смотрела на фотографию отца, которую после его похорон вставила между стёклами серванта. Теперь частенько вот так, мысленно, разговаривала с ним. Отец, лукаво прищурив глаза, весь светился добродушием. Казалось, вот-вот скажет: «Ну что, мормышка! Твоими коленками только сковородки чистить. А вот глаза у тебя, Юлька, как брызги шампанского». Так он говорил ей в детстве. Коленки у Юльки действительно были в цыпках и царапинах, потому что водилась она больше с мальчишками. И, как все мальчишки, конечно же, мечтала о дальних морях и океанах. После школы, к великому удивлению родителей, как-то умудрилась поступить в Ленинградский Гидрометеорологический институт на факультет океанологии. Правда, закончить не получилось, — вышла замуж.

Муж был категорически против её будущей профессии, которая угрожала спокойной семейной жизни длительными командировками. Жалела ли теперь об этом? Как сказать?..

Васильева Надежда Борисовна, член Союза российских писателей, автор нескольких книг прозы, а также автор и исполнитель песен на стихи российских поэтов. Рассказ «Четвёртое измерение — вторая публикация писательницы в журнале «ДОН_новый». Живёт и работает в Петрозаводске, республика Карелия.

Что пришлось на судьбу — то и принимать надо. Подмигнула фотографии: «На всё воля Божья! Правда, папк? Вон в журнале что вычитала... Не кто-нибудь, учёные пишут. — Планеты в космосе выстроились в форму креста, как это было при гибели Атлантиды. В четвёртое измерение уж скоро переходить, а мы всё — разборки на бытовом уровне!.. Стыдоба!» И хоть отец не ответил, а только с улыбкой смотрел на неё, Юлька знала: соглашается. Такая уж у него была натура. Воды не замутит. Всё ему так, всё ему ладно. Шутками да прибаутками вокруг себя посыпал. Любой разговор на мажорную ноту выведет. В любой напряг лишь приговаривал: «Всё хорошо будет. Только бы войны не было». Войну отец познал сполна. Домой вернулся контуженным. Но никогда не унывал. До чего юморным был, что в смерть его до сих пор никому не верилось. Даже на поминках друзья, вспоминая его чудачества, смеялись и плакали одновременно.

Юлька вздохнула, погладила прыгнувшую к ней на колени белую кошку. Мамина любимица. Как там мама без отца теперь? С похорон и не виделись. Обещала к Новому Году приехать, погостить недельку, другую, пока у них с Алёшкой каникулы...

Билеты, конечно, нынче дорогие, но ведь не простой Новый Год, начало нового века. Подумать страшно! Что ждёт впереди?

Больше всего боялась заметить мамину старость. Мама была на двенадцать лет младше отца. А уж и ей седьмой десяток пошёл.

Надо бы перед Новым Годом на пустыре под окнами обязательно поставить ёлку, как это делал для неё в детстве отец. И хоть Дед-Мороз под ёлкой приплясывал так, как «её папка», Юлька свято верила в то, что этот, в красной шубе, добрый старик с кудрявой белой бородой ходит по планете и одаривает каждого ребёнка. Когда, в каком возрасте поняла, что всё это отцовские сюрпризы — уж забыла. Наверное, когда «Новогодний утренник» в школе сменился «Новогодним вечером». А как заливалась она смехом каждый раз, когда отец приходил домой, как он говорил, «под шафе». И долго не понимала, на что сердилась мама. Пьяным отец становился ещё потешнее.

Маму обласкивал такими словами, что она, при всём своём, нарочито обиженном виде, еле сдерживала улыбку, а то и, отвернувшись, прыскала в кулак. Случались такие загулы обычно после больших концертов. Отец был аккордеонистом. Руководил джазовым ансамблем. «Фуршеты по случаю» были тогда в большой моде. Что только не вытворяла над ним мать в такие вот «пьяные моменты»! А он только палец кверху поднимет и тихо так, таинственным шепотом:

— Юлька! Запомни: твоя мать — Богиня! Ей всё позволено!

И «богиня» вершила правосудие! То прядку волос ему на голове с досады выстрижет. Да так, что потом он, бедный, месяц кепку на репетициях не снимает. А однажды взяла, пьяному, чернилами лицо разрисовала... Чернила до того едкие, чуть кожу всю не спустил, пока утром оттирал. Да и только бы лицо! А то ещё и в другом месте мазнуть умудрилась. Пошёл на работе в туалет — мужики на него, как на прокажённого глаза вылупили. Вот стыда натерпелся. И хоть бы когда обиделся! Только головой покачает: «Ой, Юлька! Люблю я её, озорницу! Один Бог знает, как люблю!»

Когда к маме приходили в гости подруги, отцовский аккордеон выдавал такие переливы, что проходящие мимо люди, заворожённо застывали под балконом их квартиры. Пели на четыре голоса. И песни не хмельные застольные, что знакомы каждому, — мать отыскивала в свой репертуар такие изюминки, как «Голубка моя» или «Сиртаки». Нигде больше в своей жизни, даже по радио, Юлька не слышала такой гармонии звуков! А уж как запоют, бывало, народную «Ничто в полюшке не колышется» — дух захватывало. Будто не песня лилась, а сама степная тишина звенела.

Бархатистый мамин голос украшал любую партию. И низкие, и высокие ноты выводила одинаково чисто и легко. Отец «балдел», любуясь ею. В минуты пения

мама преображалось так, что даже Юлька не могла отвести от неё взгляда. И без того утонченное лицо её светилось каким-то необычным светом. И свет этот исходил откуда-то изнутри. А глаза? Они становились поистине неземными.

Юлька тоже любила и петь, и танцевать, но больше всего — писать стихи. В школе во всех вечерах, концертах, капустниках она была «первой скрипкой». Каламбуры, эпиграммы, пародии в стихах из неё, как сквозь решето, сыпались. Хотя серьёзно к этому Юлька никогда не относилась. Сочинит «на злобу дня», подарит, кому посвящается — и забыто. Вот, к примеру, поздравление соседке:

Привет тебе, моя соседка!
Вся наша лестничная клетка,
В моём лице (и в её тоже!),
Тебя теперь поздравить может.
Теперь, когда мы уцелели,
Раз вирус гриппа одолели,
Мы можем с полным вдохновеньем
Бокал поднять за день рожденья.

На самом же деле Юлька в рот не брала спиртного. Да и косметикой не пользовалась. Щёткой откинет волосы назад — и всё тут.

Взяла со стола сонник. Такой сон снился странный... Полистала. К письму! Пружиной спрыгнула с дивана. Почту-то ещё не смотрела. Стук пяток горохом рассыпался по лестнице. Точно, письмо. Не удержавшись, тут же вскрыла конверт. Письма у мамы большие, по пять да шесть листов исписанных мелким почерком. Дома, забравшись на диван с ногами, впилась глазами в аккуратные ровные строчки.

Повезло ей с родителями. С мамой они — как две подружки. Каких тем только не коснутся!.. Мама у Юльки увлекается творчеством Рерихов. Не пропускает ни одной лекции о законах вселенной, мироздания... Сколько интересных книг обеими прочитано. После них все мелкие бытовые проблемы кажутся такими пустячными. С детства Юлька привыкла обходиться немногим. Ковры, машины, гаражи, тряпки — не её стихия. Главное, чтоб душе комфортно было. Муж, бывало, скажет: «Опустись на землю. А то всё в каком-то другом измерении живёшь!»

Поговорить о сокровенном в школе тоже было не с кем. Заикнись она о реинкарнациях, об энергии мысли, о законах кармы — сразу кто-нибудь за спиной пальцем у виска покрутил бы. Замученные безденежьем учителя, ни о чём другом, кроме очередной задержки аванса, на переменах и после уроков ни думать, ни говорить не могли. Как-то Юлька не сдержалась и вывела мелом в учительской на доске объявлений:

АВАНС!
Как много в этом слове для сердца нашего слилось,
Как много в нём отозвалось!

И только в разговорах с мамой, как говорится «отрывалась на всю катушку». Приедет домой на каникулы — с мамой ночи напролёт проговорят. И всё о высоких материях... Отец только ходит, посмеивается:

— Ой, девчонки! Мне бы в следующем воплощении опять рядом с вами быть! Что я без вас?! Ноль на палочке!..

Читая вторую страницу письма, кисло скривила губы. Мама спрашивала о Максиме. О том, что Юлька развелась с мужем, она ещё не знала. Разве в письме всё опишешь? Юлька готовила «сей приятный сюрприз» на встречу с ней. Знала, мать

не осудит, поймёт, хоть к зятю оба родителя всегда относились весьма благосклонно. Максим и впрямь был неплохим парнем. Знакомые, узнав о том, что она подала на развод, за головы схватились: «Сумасшедшая! Такой парень! Видный, остроумный, преуспевающий в карьере!..»

В ЗАГСе, куда они пришли с заявлением, судья, женщина лет пятидесяти, строго сведя брови, устроила ей настоящий допрос:

— Что, пьёт?

— Нет!

— Бьёт?

— Нет!

— Изменяет?

— Не знаю... — Юльке такого и в голову не приходило. Никогда не любил муж вертлявых девиц. По телевизору постельные сцены начнут показывать, он даже шнур из розетки выдернет.

— Трудный характер? — всё допытывалась судья.

— Я бы не сказала...

— Так в чём дело тогда? Вы в своём уме?

Юлька пожала плечами.

— Вот, вот! О сыне хоть бы подумали! — Перевела взгляд на Максима. — Почему ваша жена подаёт на развод? Вы объяснить можете?

— Понятия не имею! — Тоже правду сказал. Для него это как гром среди ясного неба.

— Разлюбила!

Юлька испуганно вскинула глаза на секретаршу, у которой с губ слетело это убийственное слово. Но та опять что-то строчила в журнале.

— Разлюбила, полюбила,.. а страдают дети! — заворчал мужчина, сидящий за столом третьим. — Врозь им пожить надо год, другой. Пусть перебесятся да лиха хватят!..

Но судья отложила их документы в сторону.

— Не вижу причин для развода! Придёте через два месяца.

Максим победно взглянул на неё, мол, ну что, съела? А её даже досада не взяла. Ну, и что? Через два — так через два. Какая разница?

И вот снова они стоят перед большим, покрытым красной скатертью столом, из-за которого с любопытством сверлят их три пары глаз.

— Не передумали?

— Нет.

— Настаиваете на своём решении? — нависло над Юлькиной головой.

— Да!

— В моей практике это первый случай! Причину развода как формулировать будем?

Юлька склонила голову на бок, но не ответила. К понятиям «любовь», «чувства», «душа» здесь, судя по всему, относились как к чему-то из области фантастики, далёкой от реальной жизни и потому приемлемой только на досуге. Сказать им о том, что её мутит уже от одного слова «карьера», которое в таком обиходе у мужа? Не поймут почему. А потому сформулировала самым официальным образом:

— Дальнейшее совместное проживание не видится возможным. — Произнесла чётко, сухо, будто поставила точку. И никому ничего не собирается больше объяснять.

Придя домой, плашмя плюхнулась на диван. Застыла без движений. Вот и всё! В голове, как на телетайпе, поплыли стихотворные строки:

Вот платье, которое всё износилось,
Но многие годы носилось, носилось...
И было оно — ни к душе и ни к телу
(Никто не неволил — сама же надела!)
Сама же надела, сама и снимаю,
И нового платья не надеваю.
Разоблачилась! Какое блаженство!
Во всём!
...Может быть, в наготе совершенство?!

Поймала себя на том, что чеканит слоги с таким же ритмом, как отстукивают колёса по шпалам своё извечное «Та-та-та! Та-та-та!» Кто бы знал, как она не любит рельсы, вагоны, вокзалы!..

Когда началась эта неприязнь к железной дороге? Не тогда ли, когда супруга назначили на должность начальника транспортного управления. Это случилось на третий день после рождения сына. Она была ещё в роддоме. Максим пришел её навестить. Бледный, взволнованный, с букетом цветов стоял под окном палаты. Потеплело сердце. Переживает за неё. Мальчик родился очень крупным, почти четыре килограмма. Во время родов досталось ей... Не обошлось без порывов и наркоза. Превозмогая боль, подошла к окну. Улыбаясь, показала мужу сморщенное личико сына в больничном платочке, такое жалкое и беспомощное... А он только головой кивнул, мол, ладно-ладно. И тут же о своём:

— Поздравь! С сегодняшнего дня твой муж не кто-нибудь, а начальник Транспортного Управления!..

Юльку как холодной водой окатили. Почему-то вдруг стало стыдно за него. Да так, что кровь хлынула к лицу. Понятно, рад, пост для его возраста не малый. Только зачем он об этом в такую минуту? Да и назначение было не случайным. Свёкор занимал большую должность в Федеральном Управлении Железнодорожного Транспорта. Свекровь — тоже при форме. Словом, и праздники, и будни в их семье были насквозь пропитаны этим нудным «Та-та-та! Та-та-та! Та-та-та!» Все разговоры завязаны на деньгах, льготах, поездах.

Стоило появиться в голове этому звуку, по чистой воде памяти начинало растекаться маслянистое пятно воспоминаний. Муж возвращался из загранкомандировки... Они с сыном идут на вокзал, встречать. После пятимесячной разлуки должна бы на крыльях лететь... А у неё ноги сделались ватными. И внутри всё трясется... Нет, других мужчин в её жизни не было. Причина не в этом. Сын тоже нервничает, словно догадывается о чём-то. Вот забегает вперёд, пытается заглянуть ей в лицо. Десять лет, а уж всё понимает. Почему она не рада?! Ей и себе-то это трудно объяснить. Знает только, что легко ей дышалось все эти месяцы! Как хорошо было им вдвоём с Алёшкой... Она снова была естественной и свободной, как в детстве. Без его нравоучений: «Юля, ты очень открыта для людей! Так вести себя нельзя! В наше время искренность не в цене! Учись держать этикет! Ты не просто учительница начальных классов, ты — моя жена. А я не последний человек в этом городе!»

И вот они уже на перроне. Взглянула на часы. До прибытия поезда оставалось пять минут. Только бы не упасть в обморок! Хоть бы какая задержка в пути, что ли! Как-то надо привести свои чувства в равновесие... Как-то надо натянуть на себя эту проклятую улыбку!.. Противно дрожат ноги... И диктор молчит. Значит, поезд придёт по расписанию. Объявили прибытие на первую платформу... Из-за поворота показалась мощная голова железного монстра. Она всё росла и росла в размерах. А Юльке казалось, что на неё железной стеной надвигается неотвратимая беда! И вот уже слышен лязг её зубов! Вагоны, пыша ей в лицо колючим зноем, надменно

скользили мимо. Господи! Пусть бы он вот так весь и прошёл мимо, этот длинный грохочущий состав! Но колеса со скрежетом злорадно тормозили. Красавец «СВ» остановился перед ней, как вкопанный. И в эту минуту внутри что-то оборвалось. Она вдруг успокоилась, стала вялой, пустой, безразличной. Максим схватил её в охапку. Загорелый, возмужавший... Только, как не идёт ему эта борода! Сын тоже испуганно таращит на него глаза, жмётся к её боку. Максим подкидывает его вверх, ставит на землю. И... уже не с ними. Галантно расшаркивается с попутчиками по вагону. Бравые шутки, услужливые жесты, крепкие рукопожатия... Небось, нужные, значимые люди... А это для него важнее всего на свете. Уж она-то от него никуда не денется.

И грустно усмехнулась сама себе: наивная, боялась, что он заметит её состояние!

Вот он махнул рукой, подзывая такси. Суетится, запихивает в багажник битком набитые баулы.

Дома квартира сразу наполнилась каким-то непривычным ей шумом, разом сделалась неуютной, тесной, чужой. Юлька с трудом находила в ней место. Машинально накрывала на стол, гремела тарелками.

— Мясо, значит, так и не ешь? — не спросил, а просто со смехом прокомментировал муж давно известный ему факт.

Юлька покачала головой. А сама подумала: а это-то причём?

Их вкусы, чувства, мысли, желания всегда почему-то шли в разных направлениях. Вот и сейчас. Он спрашивал об оценках сына, а она в ужасе думала о том, что после обеда ей придётся выполнять свои «супружеские обязанности». Тело сделалось таким же вялым и безразличным, как и сама она на перроне в первую минуту их встречи. А как почувствовала себя в его объятьях, и вовсе стало происходить что-то странное. Душа словно отделилась от предавшего её тела и откуда-то сверху тоскливо наблюдала за тем, что творится с плотью, не желая принимать во всем этом ровно никакого участия!

И снова потянулись искусственные дни: без радости, без творчества, в каком-то душевном напряжении и тягости. Будто и не жила, а существовала для него. Чтобы были пироги, ухоженный сын и чистое бельё. В душе нарастал какой-то бунт. И как всегда, все чувства выливались на бумагу. Юлька достала записную книжку. Стала листать. Вот они. Да, в общем-то, и не стихи даже, а так, размышления в рифмованной форме:

Ты говоришь: «В семейной жизни важно, чтоб были пироги и чистое бельё». От этих слов мне стало грустно даже, и удивило понимание твоё того, что называется «семьёю»... Как «ёмко»ты выхватываешь суть: мол, к ней приложится потом само собою всё, без чего семьи не мыслим путь. Услышав сказанное, образно и быстро, как натюрморт представила вдруг я: «Пирог. Тебя. Себя». Мы непременно в чистом. И подпись под картиною: «Семья». Нет, я не против правил гигиены. И печь, и мыться нужно, и стирать... Но это делают с усердием, наверное, когда друг другу нечего сказать!..

Максим нашел её записную книжку в женский день. Зачем полез в её ящик? Почему позволил себе без разрешения прочесть то, что ему не предназначалось? Ещё много вопросительных знаков вылетало из её глаз в тот праздничный день. Она пекла на кухне пиццу. Он, молча, застыл в дверях. Юлька не сразу и догадалась, в чём дело... И только тогда, когда он стал размахивать перед её носом записной книжкой, сотрясая воздух какими-то нечленораздельными выкриками, до неё вдруг дошло. И почему-то стало смешно. Это и вовсе вывело его из себя. Юлька никогда ещё не видела мужа таким разъярённым. Утрируя, он выкрикивал ей в лицо ею же написанные строки:

Меня нельзя призвать к ответу —
Проступка я не совершила,
Когда забыв сомненья где-то,
Я поняла, что не любила.
И эта мысль не угнетает,
Не давит грузом мне на плечи.
А почему — лишь сердце знает.
Ему теперь и биться легче.
Я изменилась? Несомненно!
И даже тело легче стало...
Моя душа так вдохновенно
Ещё ни разу не летала!

— Что за бредни?! — ревел он на всю квартиру. — Кому это посвящается? Когда в голову тебе стали приходить такие мысли? Пиши свои каламбуры — я не запрещаю! Но чтобы такой ереси больше не видел! Поняла?! Ещё не хватало, чтобы кто-нибудь из наших друзей прочёл эту глупость! Нет, ты не отмалчивайся! Ты слово дай, что заниматься подобным рифмоплётством больше не будешь. Ну? Я жду!

И тут с Юлькой произошло что-то странное. Она вдруг сорвалась с места, и выхватила из его рук записную книжку. Он прямо-таки оторопел от такой наглости. Ему стало не хватать воздуха! Он даже расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке. Лицо побледнело, потом побурело, потом и вовсе пошло пятнами. Она, спрятав книжку за спину, молча, наблюдала за ним. Супруг решился дара речи. Долго стоял посреди комнаты, не зная, как вести себя дальше.

— Сожги эту книжонку, или я уйду из дома! — убито прошептал он, понимая, что этими словами подписывает себе приговор.

Юлька медленно покачала головой. Он стал собирать вещи. Она наблюдала за ним с таким спокойствием, будто от неё уходил не муж, а контролёр электрических счётчиков. И сама себе поразилась. Откуда это равнодушие? Ведь были же и счастливые моменты... Ну, вспомни же, Юлька, вспомни!

Очень нравилось ходить с ним по лесу, смотреть, как быстро и ловко он разводит костёр. В лесу муж становился до того естественным и раскрепощённым, что Юлькина душа переполнялась нежностью, которая вот-вот готова была выплеснуться через край. Но стоило на горизонте замельтешить каким-то людям, Максим снова влезал в свой панцирь, да ещё старался втянуть в него за собой и её. Юлька любовалась мужем, когда, например, он чистил картошку, что-то тихонько насвистывая себе под нос. — Сразу становился простым, родным, домашним... И опять ей хотелось прижаться к его плечу... Но именно в этот момент непременно звонили в дверь. Максима точно подменяли. И даже в голосе появлялись неприятные скрипучие звуки. А уж как на улицу выйдут — «Пиши, пропал!» И смешно, и противно. То она слишком громко говорит, то под руку не так держит, то улыбнулась кому... — зачем? А Юлька с детства терпеть не могла этого приторного этикета. Всегда считала: этикетом прикрываются те, у кого нет ничего за душой. Или когда человек закомплексован до предела. Скорее всего, супруг страдал от последнего.

В день их знакомства он пришел к ней вечером на свидание с другом, да таким пьяным, что она умирала над ними со смеху. Они дурачились, как маленькие. Это было так мило и забавно! А на другой день он снова был весь «в манерах». Она решила, что это от стыда или смущения. Каким-то не своим железным голосом сделал ей предложение. Объяснил спешку тем, что уезжает на Север по распределению. Ей стало его жалко — такого зажатого, обделённого естеством...

В этот же вечер она позвонила домой, родителям:

— Мам? Это ты? Это я. Ты сидишь?

— Нет, стою, а что? — не поняла юмора мать.
— Ты, мам, сядь на всякий случай... Я замуж выхожу!

Юлька подошла к зеркалу. Голубой свитер так шёл к её серым глазам… Она почти не изменилась за эти десять лет. Всё такая же лёгкая, подтянутая, хрупкая. Вот только морщинки под глазами... Подумаешь! Что такое тело? Оболочка. А главное — душа. А душою Юльке двадцать, не больше. Причесала русые волосы. Подразнила себя, высунув язык и оттопырив уши:

Я имею от рожденья
чуть оттопыренные уши.
И, может, потому умею
я «слышать», а не просто «слушать»!

По радио зазвучала знакомая испанская мелодия. Она была до того ритмичной и зажигательной, что Юлька непроизвольно стала пританцовывать перед зеркалом. Боже! Как она любит танцевать! И как редко выпадала ей такая возможность. Максим танцевать не умел, а что не умел — то и не любил. В вальсе недоступал одного шага. Да и быстрые танцы тоже не очень получались. Однажды после любительского спектакля в школе, к которому Юлька написала сценарий, все участники решили пойти в кафе потанцевать. Она позвонила Максиму, чтобы спросить разрешение.

— Ну ладно, только полчаса, не больше, — не сказал, а процедил он сквозь зубы. И трубку повесил первым. И хоть настроение после разговора с ним было «не фонтан», всё-таки протанцевала два танца.

Да, как настёганная, домой побежала в самый-то разгар... А дома всё равно супруг выговаривал... Лучше об этом не вспоминать.

Испанская мелодия звучала всё азартнее. И даже вступили в ритм кастаньеты. Юлька танцевала и чувствовала, как душа наполняется непонятным ликованием. Отчего? Почему? Вспомнила! Эта та самая музыка! Ну да! Было лето. Какой-то фольклорный праздник. По набережной толпами прогуливались люди. Она уже была в положении. Ей почему-то очень захотелось прокатиться на яхте. И хоть муж отнесся к её «бредовой затее» без восторга, всё-таки надел костюм, белую рубашку, галстук и, чинно придерживая её под руку, «вывел в свет».

В парке гремела музыка. Перед ними шла молодая пара. Девушка ела мороженное, а паренёк, в белой футболке и в таких же белых эластичных брюках, рассказывал ей что-то очень смешное, бурно жестикулируя руками. Был он крепкий, подвижный, небольшого роста и до того раскрепощённый, что казалось вовсе не замечает вокруг себя людей. Юлька не могла отвести от него глаз, и вовсе не слушала того, о чём рассказывал ей муж. Ей почему-то казалось, что сейчас непременно должно произойти что-то необычное. И не ошиблась. Зазвучала вот эта мелодия, и паренёк стал танцевать. Вокруг него сразу образовался круг. Люди хлопали, поддерживали его восхищенными выкриками. А он легко летал по площадке, выделывая такие па, что у Юльки от восторга захватило дух. Как ей хотелось присоединиться к этому вдохновенному танцу любви. Она с мольбой смотрела на девушку и мысленно молила её: «Ну!!!» Самое время ей развернуть юбку веером да пройтись по кругу.

Но девушка простодушно улыбалась и продолжала есть мороженое. Тогда парень прошёлся по площадке колесом, подпрыгнул, сделал в воздухе сальто, на руках обошёл толпу зрителей и встал перед девушкой на колени, вручая ей кем-то брошенные ему розы. Парк вздрогнул от аплодисментов. А парень подхватил на руки свою девушку и, не обращая ни на кого внимания, побежал с ней к озеру. У Юльки по щекам текли слёзы. Заметив это, Максим недовольно прошептал:

— Ещё чего выдумала! В твоём положении вредно расстраиваться. Не будь столь

эгоистична. Теперь ты должна думать не только о себе! Мы — семья. Нас скоро будет трое. А скоморохов на Руси хватало в любые времена. Таков их удел — развлекать толпу. Каждому — своё! Чему тут завидовать?

Господи, о чём он? При чём здесь зависть? Им никак не понять друг друга, будто говорят на разных языках.

Зазвонил телефон. Юлька прервала танец. «Вам телеграмма. Зачитать?»

— Конечно!

— *«Выезжаю. Буду воскресенье утром. Вагон 13. Целую. Мама».*

— Спасибо!— крикнула трубке Юлька и снова заплясала по прихожей. Радости было не сдержать. Скорей бы пришёл с улицы Алёшка! Подмигнула фотографии отца: «Ой, папка! Мама едет! Наконец-то! Только ты не грусти, ты же знаешь, ты всегда с нами».

И вот она уже на перроне. Как аккуратно расчищен снег. Стрелки больших вокзальных часов подмигивают Юльке каждые пять минут. Мол, жди! Сейчас! До чего ж красив вокзальный шпиль! Почему она не замечала этого раньше? И голос у дикторши приветливый: «Поезд N 22 прибывает из Москвы на первую платформу. Нумерация вагонов с головы поезда».

Сердце у Юльки радостно бьётся: «Та-та-та! Та-та-та! Та-та-та! Та-та-та!» Проводники в нарядных синих формах улыбаются ей, как старой знакомой. Мелькают фирменные голубые занавески на окнах — «Арктика!» Ну, тормози! И, словно внимая её мольбам, запыхтели колеса, затолкались зелёные вагоны, придерживая друг дружку. Тринадцатый вагон медленно проплыл мимо. Юлька рванулась вперёд! И чуть не столкнулась лбом с каким-то парнем. Подняв руки вверх, он что-то радостно выкрикнул в ответ на улыбку старика, махнувшего ему из тамбура.

Юлька отступила в левую сторону. Парень сделал тоже самое. Она шагнула вправо. И он! Им было никак не разойтись. Будто сама судьба удерживала их на месте. Радость выплескивалась из него, как из открывшейся вдруг бутылки шампанского. Смеющиеся глаза парня мелькали перед её лицом. Тогда он схватил её за талию, закружил по перрону. Потом осторожно опустил на землю и чмокнул в щёку:

— С наступающим тысячелетием!

— Вас тоже!

— Откуда вы такая?

— Оттуда.

— Понимаю. Придёте на Театральную площадь в Новогоднюю ночь?

— Обязательно!

— Я буду вас ждать под ёлкой, ладно?

— Договорились!

— Я вам нравлюсь?

— Ещё как!

— Как Вас зовут?

— Юля! А Вы — сумасшедший?

— Нет! Из четвёртого измерения! У ёлки буду Дедом-Морозом! Только непременно придите. Умоляю вас! У нас с вами впереди целый век!

— Приду! Куда денешься от судьбы?! — улыбаясь, развела она руками.

И разбежались, каждый догоняя свой вагон.

Перрон гудел от радости и счастья многих встреч. И тихо падал снег, пряча суету следов под белое, вселенской чистоты покрывало…

Николай Переяслов

БЕССМЕРТНЫЙ ВОИН

***

Я погружаюсь глубже в годы,
всё дальше виден берег мой.
Так человек заходит в воду –
по грудь, по плечи, с головой.

Так человек заходит в море,
и, пересилив страх, плывёт
туда, где в тающем просторе
его незримый берег ждёт…

К ПОЭЗИИ

…В тот чёрный час, когда моя держава
рассохлась, точно бочка, и вот-вот
развалится – и даже обруч ржавый
её от этой доли не спасёт;
когда из всех щелей её и трещин,
из всех случайных нор, прорех и дыр
течёт поток «мозгов», валюты, женщин,
талантов, прославляющих весь мир;
когда вокруг – слепят глаза рекламы,
а в душах горько, хмуро и темно,

когда в искусстве процветают хамы,
ну, а менты «крышуют» казино;
когда повсюду – ложь и казнокрадство,
и брызжут в душу пошлость и цинизм,
когда цветут жестокость и злорадство,
и не скрывает радость сатанизм;
когда вся жизнь – лишь бесконечный шопинг,
а мир вокруг – один огромный ГУМ;
когда важнее, чем молитва – допинг,
а интернет – в сто раз нужней, чем ум;
когда суть жизни сохнет и мельчает,
и неуклонно сводится к нулю,
когда никто вокруг не замечает,
как гибнет всё, что страстно я люблю, –
кто это зло остановить сумеет,
в котором меркнет даже солнца свет,
в котором мир, как соловей, немеет
и вянет всё, как без воды букет?..

В дыму фуршетов, кастингов, экскурсий,
в азарте рынка, зуде суеты –
прошу: хоть ты, поэзия, не скурвись,
оставь душе частичку чистоты!
Мир без стихов – как комната без окон,
куда вовек не дунет ветерок,
чтоб духоты невыносимый кокон
прорвать напором животворных строк.
Мир без стихов – как колбаса из сои –
по бутафорски ярок, но фальшив…

…Поэзия! Ты – как бессмертный воин,
спасаешь мир: пока ты есть, он – жив.

СПАСЕНИЕ

Изломанный челнок, я снова брошен в море…
(М.Ю. Лермонтов, «Маскарад»)

Едва восстав от бед, от боли и от горя,
неся в душе ожог предательской любви,
изломанный челнок, я снова брошен в море
с напутствием вослед: «Плыви, мой друг, плыви!»

Вокруг встают валы бурлящих вод летейских,
а впереди – горит слепящий свод зари.
Я слышу чей-то глас: «Не бойся волн житейских, –
мир полон красоты, смотри вокруг, смотри!

И даже если вдруг огнём взорвутся дали
и захлебнётся мир в пролившейся крови,
не утопи мечту в унынье и печали,
перед тобой – вся жизнь, живи, мой друг, живи!

Отбрось обиды прочь, вручив себя надежде,
греби веслом, и жизнь – тоскою не губи.
Любовь ещё зажжёт тебя сильней, чем прежде.
Ты слышишь в сердце жар? – Люби, мой друг, люби!..»
…….
…Вокруг ревут века, как ветер на просторе,
и я – то рушусь вниз, то к небу вознесён.
Изломанный челнок, я брошен жизнью в море –
и не иссох в тоске. И этим – был спасён.

ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ

Ты останься со мной. Пережди
непогоду и грустные мысли.
Над страной ледяные дожди,
как стеклянные нити повисли.

Посмотри – вся Россия лежит,
как опасная скользкая горка.
(Как бы солнечный сгусток души
не покрыла такая же корка!..)

Слышишь – ветки трещат за окном,
от нависшего груза ломаясь?
Нелегко жить в плену ледяном,
гнущей тяжести льда не сдаваясь.

Стынет сердце ледышкой в груди.
Новый век, как метель, сатанеет.
Мрак и холод лежат впереди,
и душа от тоски леденеет.

Защитят ли холодную кровь
свитера да из шкур одеяла?
Мир промёрз, как окно. Лишь любовь
в нём чуть видный глазок продышала.

Это наше спасенье! Она –
нас согреет сильней, чем одежда.

Нам любовь эта свыше дана,
чтобы в нас не погибла надежда.

Этот дождь, что сверкает стеклом,
он – не кара, а только проверка
наших душ и сердец на излом
и житейских трагедий примерка.

Чтоб, шагнув за порог избяной
на простор меж былым и грядущим,
мы любили наш мир ледяной,
веря в то, что он станет цветущим.

СЛОВО О ДРУГЕ

В 2014-м году секретарю Правления Союза писателей России Николаю Переяслову, родившемуся в 1954 году в Донбассе, исполнилось 60 лет. И можно с уверенностью сказать, что эти годы были прожиты Николаем отнюдь не впустую — им издано уже более 30 книг стихов, прозы, литературной критики и поэтических переводов национальных поэтов, а также у него огромное количество публикаций в газетах и журналах России, Украины, Беларуси, Молдовы, Армении, Грузии, Абхазии, Казахстана, Башкортостана, Татарстана, Эстонии, Германии, Болгарии, США, Китая, Вьетнама и других стран. Среди произведений Николая Переяслова следует отметить романы «Тень «Курска» или Правды не узнает никто», «Мой дедушка застрелил Берию», «Ветер с востока», «Он где-то рядом», «Самый феноменальный год в истории» и другие, а также целый ряд повестей и поэм, критических книг, поэтических сборников и историко-литературоведческое исследование о русско-половецких отношениях 1185 года, которые легли в основу первой древнерусской светской поэмы «Слово о полку Игореве». Им также подготовлена и выпущена в свет уникальная антология «Недаром помнит вся Россия», посвящённая воинской поэзии об Отечественной войне 1812 года, изданная к 200-летию войны с армией Наполеона.

Творчество Николая Переяслова находит широкий отклик у читателя, — в его стихах и прозе уникальное соединение многолетних литературных традиций с поисками ярких новых форм и неординарных поэтических методов. Его поэзия всегда радует строгими ритмами, а проза и критика дают основания для глубоких философских размышлений.

С 1997 года Н.В. Переяслов работает секретарём Правления СП России, курируя организационную работу ряда областных писательских организаций, руководя в них совещаниями молодых писателей и творческими семинарами.

Он — лауреат литературных премий имени Андрея Платонова, Расула Гамзатова, Михаила Лермонтова, Велимира Хлебникова и Большой литературной премии России.

В завершение уходящего 2014 года секретариат Правления Союза писателей России от всей души поздравляет Николая Переяслова с 60-летием и желает ему счастья, здоровья, благополучия, творческих успехов и долгих лет активной писательской деятельности на радость читателям.

Геннадий Иванов, первый секретарь Правления СП России

К 60-летию писателя

Вячеслав Зименко

САД

Эссе

Нежаркое майское солнце играло, прикасалось и, словно стараясь вернуть украденное зимою тепло, ощутимо грело. Яблони, абрикосы и черешни, нарушив вековую фенологическую хронологию, зацвели одновременно, в одночасье. Земля укуталась бело-розовым восторгом, в котором неторопливо сновали и умиротворённо жужжали тысячи пчёл, а между деревьями плавала нектарная дымка.

Саду было спокойно и хорошо. Как обычно, он ждал Человека, чтобы поделиться с ним настроением, угостить цветочным ароматом, послушать тихую речь, ощутить прикосновение заботливых рук. Вопреки выводам человеческой науки, утверждающей, что Природа перед растениями не ставит задачу понимания мира, Сад, осознав себя единым организмом, уже не мыслил существования без этого седого, высокого, со строгим лицом, но с добрыми глазами старика, ставшего за годы общения родным.

Старик посадил деревья и ухаживал за ними. Оберегая почки от весенних заморозков, он разводил костры и окуривал ветви тёплым горьковатым дымом. Он поил корни прохладной влагой в невыносимо засушливые летние дни. Он боролся с прожорливыми гусеницами и древесными болезнями… Но самым удивительным и приятным для Сада было общение с Человеком. Конечно, слова произносил только человек, а сад слушал, всё понимал и отвечал шелестом листьев.

На краю глубокого оврага, где заканчивался сад и начиналась степь, вцепившись обнажившимися мощными корнями в землю, доживала свой век огромная груша. Когда солнце всходило над горизонтом, и косые лучи его проникали в грушевые заросли, а кругом стояла тишина нарождающегося дня, к дереву приходил старик. Он садился в «кресло», сотворённое из старого фруктового ящика, прислонялся спиной

Зименко Вячеслав Александрович, член Союза писателей России (2013), прозаик. Окончил Санкт-Петербурскую военно-медицинскую академию. Служил судовым врачом на подводных лодках. Капитан II ранга. Автор книг прозы: «Несъедобный флот» и «Провинциальные истории». Живёт и работает в Ростове-на-Дону.

к корявому прохладному стволу, в который, казалось, впитались годы, и, наслаждаясь вкусом утреннего воздуха, начинал разговор:

— Послушай, Сад, ты не заметил, что в этом году намного меньше, чем прежде, прилетало пчёл в мае? Как думаешь, почему?

Или:

— Синоптики обещают засушливое лето. По-твоему, дальняя делянка молодых персиков выстоит без дополнительного полива?

В такие минуты суета и томление духа, которые по недоразумению у людей принято считать жизнью, отступали на второй план, а Саду начинало казаться, что в мире нет вообще никого, кроме солнца и старика.

Старик жил уже давно. Он повидал добро и зло, предательство, боль и страх. Он знал Смысл! Спасая свою семью от голодной смерти в тревожном 1935 году, старик придумал простую и гениальную схему добычи «насущного». Тогда в городе водился хлебушек, и на базаре его можно было купить без ограничения. А вот в деревнях зерно и муку власть выгребла «под чистую»! Селяне питались лепёшками из травы лебеды и древесной коры, охотились в степи на сусликов, выливая их из норок водой, но вывезти хлеб из города не могли: на дорогах и вокзалах проводились строгий досмотр и конфискация. Старик взял ещё новое зимнее пальто своей младшей дочери (а дело было летом) вырезал из него утеплитель, измельчил мякиш нескольких купленных на рынке буханок хлеба до состояния крошек и загрузил хлеб под подкладку. Оставалось только одеть «контейнер» на девочку и убедить милицию на пункте досмотра, что в двадцатипятиградусную жару ребёнок одет в пальто не по недомыслию родителей, а по причине простуды. Такие челночные рейсы из города в деревню помогли тогда семье выжить, но всякий раз приходилось выбирать новый маршрут, чтобы фокус с пальто сработал.

По доносу соседа в 1948 году старика арестовали и «поселили» в сталинские лагеря. Инквизиторы пытали народ холодом, жаждой, процедурой лишения сна, неудобной многочасовой позой, или, не утруждая себя «изысками» — просто избивали людей до полусмерти. Старик рассказывал, что легче всего переносилась пытка раздроблением пальцев в дверном проёме. Мучители не знали (откуда им знать, ведь они этого не испытали), что боль ощущается только в первый момент размозжения плоти. Затем чувствительность терялась, и умный человек (в ходе длящейся пытки) продолжал кричать исключительно «для порядка», чтобы избежать других, более изощрённых и невыносимых «процедур» общения с нелюдью.

Возможно, поэтому старик, формируя крону или удаляя старые и больные ветви, проводил обрезку только в крайние сроки, когда уже прекращалось движение соков, а деревья впадали в зимнее оцепенение. Крупные срезы и спилы он всегда старательно смазывал специальным варом, приговаривая:

— Потерпи, родное, так будет лучше, так надо. Сейчас станет не больно!

Сад по-своему благодарил Человека, удивляя его невероятными, просто фантастическими урожаями (наверное, здесь необходимо уточнить, что сад был колхозным и занимал несколько гектаров земли). Руководство области даже присвоило старику почётное звание «Лучший садовод района» и периодически привозило различные делегации для освоения «передового опыта».

Так они и жили, Сад и Человек: коротали время за разговорами, в которых сгорает прошлое, строили планы на будущее, наполняли смыслом жизнь друг другу.

Очередное лето пролетело, как миг. Наступили дни, несущие полуденный покой жёлтого листа и сухой травы, рождающие бродячие свинцовые облака и винно-фруктовый аромат осени.

— Знаешь, Сад, что-то мне нездоровится, — вымученно признался старик после на редкость хлопотного дня, — возможно, завтра я не приду.

Уже наступил вечер, и сквозь ветви деревьев сочились сумерки, а лунный свет старательно разрисовывал листья оттенками серебра. Старик ушёл, а Сад беззаботно задремал, не думая о том, что будет завтра.

Утром взошло солнце, в кронах деревьев его лучи разбивались на мозаику света и тени, начинался ещё один день, ещё один миг сентября, когда воздух пьянит и хочется жить.

Старик не пришёл. Не пришёл он и на следующий день, и через неделю. Тяжёлые, спелые плоды гнули и ломали ветви, но никто не подставлял под деревья спасительные рогатки-подпорки, никто не спешил снять с них груз урожая.

— Как же так? Почему? Старик знает, что я его жду, он не мог предать! Как я буду жить один? — кричал от боли и отчаяния Сад. Страх грохотал у него в «мозгу», а пустота и одиночество ощущались физически.

В районную больницу старика не довезли, он тихо скончался по дороге...

Вскоре в колхоз прислали дипломированного специалиста-садовода. Он, обрабатывая сад, «делал всё по науке», но Сад всё слабел и слабел; казалось, что он добровольно отказывается жить.

Спустя год после смерти старика на сотни метров вместо живого Сада простиралось мёртвое «тело» из почерневших сухих искорёжённых деревьев, над которыми равнодушно и лениво накрапывал холодный дождь.

«ВИВАТ, АКАДЕМИЯ!»

В высших учебных заведениях у нас работают ради удовольствия. Взять хотя бы «Университет подводного заборостроения». Удовольствие начинается прямо у проходной, где входящего встречает наскальная живопись — выписка из приказа ректора о дресс-коде: *«Запрещается посещение лабораторного корпуса в стрингах, плавках, купальниках, набедренных повязках, пляжной обуви и мужских чехлах-наконечниках папуасского племени Осматов».* Эти петроглифы висят на двери круглый год, чем немало удивляют прохожих и гостей бурсы в двадцатиградусные февральские морозы. В летние же месяцы население «универа» как раз и ходит в вышеперечисленной «спецодежде»: богатые и надменные студенты — из этических убеждений, а преподаватели — по причине унизительной бедности.

Если думаете, что у нас плохо с наукой и все «пилят» зарубежные халявные гранты, то вы ошибаетесь. Наука — это мир, расположенный над добром и злом, поэтому, несмотря на трудности быта, мысль фонтанирует, а народ продуктивно «пашет». Например, на кафедре «Биоресурсов и аквакультуры». Попробуйте, как наши «ихтиандры», днём до одури проводить занятия по инженерной экологии и часами рассказывать о взаимоотношениях полов у земноводных, а после работы в кастрюлях и ночных горшках выращивать осетров из мальков камсы и лягушиных головастиков. Но ведь получается! Осетры — двухметровые, икра — ведрами, научные публикации и монографии — пачками!

А электронщики? Наши «кулибины» разработали и теперь отливают на 3D-принтере чудо-прибор «мыслелов» — шляпу, читающую мысли в голове, на которую она надета в данный момент. Эту стратегическую тему курирует сам ректор. Ему «мыслелов» позарез нужен на бесконечных университетских заседаниях. А как же — подчинённого постоянно необходимо «мониторить на яйценоскость и оловянность», это же аксиома! Хотя и без прибора любой, даже самый завалящий фюрер управляет

Мирами, ощущает кармическую связь с космическим Разумом и напрямую общается с сущностями седьмого уровня плотности, но согласитесь — знать подленькие мысли «народа» всё же необходимо. Сидит какой-нибудь профессор или академик, преданно смотрит в глаза и согласно кивает, а если улыбнётся — от такой улыбки хочется спрятаться под кроватью! О чём он думает?! Здесь не помогут ни карманный профсоюз, ни многочисленные помощники и заместители, круглосуточно, до желудочно-кишечного расстройства пытающиеся угадывать желания босса. Им некогда, ведь они скрупулёзно высматривают недолизанные участки на высочайшем теле и почтительно к ним тянутся. С замами такое бывает.

Теперь о «грызущих гранит науки», о детках (так почему-то в ВУЗе именуют всех обучающихся в возрасте от 17 до 65 лет). Интересен такой факт: в царской России даже официанта (полового) для трактиров готовили 5 лет, сегодня бакалавров различных направлений подготовки «пекут» за 4 года! Это раньше студент признавал культ учёбы, был любознателен, душевен, прилежен, мелок в холке и трепетен перед харизмой профессора. Сегодня он крупен, холоден, борз, удивительно безграмотен (только несложное слово из трёх-пяти букв может зацепиться за извилину его мозга), IT-продвинут, стрессоустойчив (в простонародье — пофигист) и безжалостен во время парковки своего «майбаха» — с наслаждением давит велосипеды и самокаты преподавателей.

Надеется студент на оценку «ладно»[1], когда экзаменуемый до тройки всё-таки не дотянул, но несколько раз приходил на пересдачу и в конец утомил преподавателя. Раньше студент учился и подрабатывал, теперь же — работает и подучивается.

В общем, современный студент это — менеджер в худшем смысле этого слова, т.к. почитая культ моббинга[2], привносит в человеческие отношения традиции из животного мира. Не верите? А вот послушайте такую историю.

Стоял октябрь. Над страной повисли ранние холода, хотя трава, кустарники и деревья «вовсю» ещё зеленели, видимо, ожидая запоздалое «бабье лето». В студенческом парке инерционно по-летнему тусовались физкультурники, собаки с собачниками, бомжи, влюблённые парочки и несметные стаи раскормленных голубей, теперь способных летать разве только вприпрыжку. Официоз тусовке придавали конные полицейские патрули, попарно выплывающие из-за кустов, словно из потустороннего мира, и пунктиром удобряющие асфальт свежей органикой. В первый момент конструкция из лошади и тела всадника воспринимается, как единое целое кентавра. Ощетинившись оттопыренными погонами, портупеями, постоянно потрескивающими рациями и конскими хвостами, эти Тянитолкаи с мутными глазами и решительными лошадиными же лицами (наверное, стакана по четыре в каждом) бдят за порядком…

В «универе» второй месяц шли занятия. Буксовало расписание, ежедневно меняющееся по прихоти свыше, слева, справа, а иногда и снизу. Студенты и педагоги боролись с сезонным насморком и друг с другом, а работники университетских кафе (как, впрочем, и всех других «наших точек питания») — с вечным соблазном «стырить» деликатесы. Студенческое радио взахлёб рекламировало «Ночь первокурсника» (допуск на мероприятие с 18 лет!), отдых на Гоа, Европейские Туры, различные молодёжные (и не очень) развлечения, недвусмысленно намекая на необходимость послать подальше учебный процесс или воспринимать его как неизбежную галлюцинацию. Загорелая управленческая элита ВУЗа только что вернулась из очередной, традиционно затянувшейся на месяцы зарубежной командировки, где на пляжах и в ресторанах Адриатики успешно перенимала опыт по болонскому образовательному процессу, и теперь непривычно ёжилась в неотапливаемых кабинетах.

Пестрящий объявлениями на подступах ко всем учебным корпусам асфальт на-

вязчиво предлагал ленивым и «чрезмерно занятым» деткам готовые дипломные, курсовые и контрольные работы.

В общем, университет жил своей обычной, но сложной внутренней жизнью.

Профессор кафедры «Управление комбикормами в туризме» Электрон Лампович Сиюминуткин был круглым, а конкретно — кипучим бездельником. Несмотря на 45-летний возраст, коллеги считали профессора напыщенным, тупеньким «мальчишкой в коротких штанишках», между собой почему-то именовали «натоптышем», а студенты, как бы это помягче сказать, — надёжным коммерческим трафиком защиты дипломов и ликвидации академических задолжностей.

Электрон не очень любил начало учебного семестра с его безденежьем, суетой, «громадъём планов» и временной (но неизбежной и неприятной) кампанией методического Управления по проверке качества проведения занятий. Как сказал классик: *«Человек следит за человеком по многим причинам. Одна из них: проверить отношение «наблюдаемого» к своим функциональным обязанностям».* Лампович уже удачно для него «отследили» — с проверкой приходили как раз в тот момент, когда лектор в рабочей позе упоительно «сеял разумное, доброе и вечное» в переполненной аудитории. Поэтому Электрон (зная, что бомба дважды в одну воронку не попадает) проверок Управления больше не боялся. Теперь он панически боялся «подставы» со стороны деток. А подстава состоит в том, что детки, не желая традиционно показать свои учебные достижения, то есть на самом деле сдавать экзамен, пытаются его «спихнуть экономически». Но приходят они на мероприятие почему-то не только с вложенными в зачётку банкнотами, а ещё и с представителем прокуратуры.

На счастье или на беду, но для Электрона вдруг случилась оказия — затерявшаяся в сессию группа заочников «всплыла» и решила сдать должок. Профессор в преддверии экзамена засуетился, заволновался, обрадовался и «стал пускать слюну».

Поднабравшаяся уже опыта в подобных операциях его «пятая точка» настойчиво шептала о надвигающейся опасности, дескать, «дурашка, остановись, тебя уже интенсивно ждут!», но демоны, отвечающие в мозге за выработку гормонов счастья, затуманили разум, наполнили его эндорфинами и сладкой шуршащей мукой …

Всё шло замечательно! Электрон пульсировал и парил над аудиторией. Очередному экзаменуемому (читай — ассигнации) вкусовые рецепторы профессора аплодировали стоя. Когда в полусонной глубине опустевших к концу рабочего дня коридоров «универа» уже потерялись и растворились последние звуки, большая часть учебной группы получила желанный экзамен, а мутные перспективы отдыха в Потайях приобрели чёткие и конкретные очертания, нежный слух Электрона вдруг поразила страшная фраза: «Руки на стол!»

Электрон Лампович сел.

В смысле не присел в данный момент, а сел — потом, через некоторое время, отправился в места не столь отдалённые.

Так что, к утверждению Станислава Моцарского: «Профессия педагога даёт пожизненную гарантию от похищения с целью выкупа», — можно смело добавить: «Но не обещает избавить от казённого дома»!

---

[1] Оценка «ладно» равна числу ***e*** (2,718281828) и в целочисленных ведомостях округляется до тройки.

[2] Моббинг (буллиг, боссинг) — офисное хулиганство, психологическое насилие, эмоциональное «людоедство». В животном мире — нападение стада травоядных на хищника.

Борис Орлов

НЕ ВИНИСЬ

***

Не целуй и на плече не висни,
Не вини меня и не винись.
Не просил судьбу о лёгкой жизни –
Знал, что не бывает легкой жизнь.

Сожаленья? – но от них нет проку.
Покаянья? – не для людных мест.
Чем острее чувствую дорогу,
Тем сильней на спину давит крест.

Не стели мне лесть ковром под ноги
И не пой на полную луну.
Тяжело идти… Но все дороги
Впереди сливаются в одну.

***

Не по сердцу штампы и клише,
И чужие люди из элиты.
Я живу на верхнем этаже –
Ближе к небу и метеоритам.

Орлов Борис Александрович, член Союза писателей России, поэт, бывший военный моряк-подводник, капитан I ранга. Председатель правления Санкт-Петербургского регионального отделения Союза писателей России. Секретарь правления Союза писателей России. Живёт и работает в Санкт-Петербурге.

За окном – ни рощ, ни спелых нив.
Возраст – не на грани, а за гранью.
Жду, когда орбиту изменив,
Прилетит космический изгнанник.

За роптанье, Господи, прости.
Не мечтаю о Прекрасной Даме.
Выше – крыша. Душу отвести
Можно лишь с небесными телами.

***

На просеке звенят призывно косы,
А из-под ветки вылезает гриб.
Июль. Но нет жары. Блуждают грозы…
Плывёт по лужам сладкий запах лип.

Желтеет на тарелках дачных репа.
В стаканах с водкой тают крошки льда…
Птенцы уже не отрицают неба,
Случайно выпадая из гнезда.

***

Декабрь ползёт… Двенадцать – это номер
Его. Лёд бронзовеет на окне.
А за окном берёза, как термометр,
Мерцает в серебристой тишине.

Над крышей бледный свет за самолётом
Бежит на юг, как в поле колея…
Я пью горячий чай с июльским мёдом. –
Декабрь болеет. И болею я.

***

День – в слезах. И ночь – в слезах.
Шум дождя в трубе…
Не гасите жизнь в глазах,
Словно свет в избе.

Щель меж туч блеснёт звездой,
А за нею вслед
В мёртвый сад живой водой
Хлынет солнца свет.

Вкус беды и вкус вина –
Схожи. – Боль утрат.
Не гасите жизнь – она
Расцветёт, как сад.

Дмитрий Ханин

С БАЙКОНУРА…

***

Тут ни при чём Сократ и Эпикур.
Моя душа – закрытая аптека,
Где на двери табличка «Перекур»
Смеётся над здоровьем человека.

Здесь тишина согрета фонарём,
А истина опять сидит в декрете,
Пока её взрослеющие дети
Играют за калиткой с топором.

О слово спотыкается язык –
Слова бегут из месива событий.
Я понял, что безвыходно привык
Смотреть на постояльцев общежитий, –

Они похожи чем-то на меня,
Поэтому я их не понимаю.
Наверно, так же статуя немая
Глядит на искры вечного огня.

Ханин Дмитрий Игоревич, член Союза писателей России (2011), поэт. Лауреат Международной литературной премии имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами…» (номинация — «Русская надежда», 2012) и премии губернатора Ростовской области для молодых писателей (2011). Аспирант ЮФУ. Автор трёх поэтических сборников. Живёт и работает в Ростове-на-Дону.

Я верю в жизнь и, кажется, в добро,
Но есть всему оплаченная мера –
И по ночам берётся за перо
Моя некруглосуточная вера.

ГОЛОЛЁД

Гололёд – не причина падения.
Человеку – так просто упасть,
Если путь заметают сомнения,
Обретая над путником власть.

Вдоль дороги отчаянье стелется,
С холодов начинается год.
Мало – в песнях моих гололедица,
Так ещё на дворе – гололёд.

Я ушёл от огня коммунального,
Как художник, раздавший холсты.
Горький чай у прилавка вокзального
Не даёт размышленьям остыть.

И, укутавшись в рифму неточную,
Замерзает вечерний вокзал.
Я тревогу свою ненарочную,
Будто чай, на стихи расплескал.

***

Буду делать хорошо,
И не буду – плохо.
(В. Маяковский)

От крика нервного до вздоха
Недолго ехать по шоссе.
Я научился делать плохо,
Я научился жить как все:
Припоминать друзьям обиды,
Считать соседа подлецом,
Молчать с надменностью Фемиды,
Смеяться истине в лицо.
По вечерам точа балясы,
Клеймя огнём кого-нибудь,
Я стал врагов делить на классы
И перед сильным – шею гнуть.
Так жизнь плетётся: крестик, нолик –
В моём архиве вместо лиц…

Подай бутылку, братец Кролик!
За Ваше счастье, братец Лис!…
А ночью вновь придётся плакать,
Хватая блики с потолка.
Душа – как старая собака,
Что телу предана пока…

БРУСЧАТКА

Люблю, отвергнув крик вокзальный,
Забыв о бреднях рядовых,
Блуждать по городу печально
Маршрутом старых мостовых –

Россия в них, как боль, упряма.
И я, пройдя свою черту,
В брусчатку, лёгшую у храма,
Немым булыжником врасту.

А после – может, на рассвете –
Среди сомнений и теней
Прохожий, горбясь, не заметит
Неровность уличных камней...

Позволь, Господь, мне быть негладким,
Но упаси – в часы обид
Стать камнем, поднятым с брусчатки,
Который в Родину летит.

ОФИСНЫЙ РАБОТНИК

Дни мои не так уж плохи,
Мне вполне хватает благ.
Я – достойный клерк эпохи,
Мелкий царь в краю бумаг.
Отложив любовь и ревность,
Как налоговый отчёт,
Я гляжу на повседневность –
Вечный делооборот.
Поднимаясь спозаранку,
Говорю себе: «Держись!
Ты и сам один из бланков
Заявления на жизнь».
Может быть, придя к расплате,
В свой заслуженный черёд
Лягу я в скоросшиватель

Частью офисных забот.
…Но – влетев ко мне неловко –
Как немая благодать,
Сядет божия коровка
На последнюю печать...

ЗИМА

Я бы вечером дома остался,
Но пургу обижать – не к добру.
Фонари, как озябшие пальцы,
Раскраснелись на зимнем ветру.

Заблужусь ли сегодня в потёмках?
Заслужу ли покладистый быт?
Расстилается в сердце позёмкой –
Или снег,
или страх,
или стыд.

Стыдно мне за угрюмую наледь,
Под которой душа не видна.
Страшно помнить, как хлопьями валит,
Заметает мой дом тишина…

Я спешу вопреки снегопаду
На весенний беспечный привал.
Чтоб согреться, подъехать бы надо,
Но автобус маршрут потерял.

Стынут мысли от каждого вдоха.
У дорог коченеют столбы.
И в сугробах буксует эпоха,
Как попутка для пешей судьбы…

ДЕТСТВО

Я вышел из детства, по горке скользя,
Забрался на крышу с высокой трубою.
В дорогу меня проводили друзья
С какой-то доверчивой грустной мольбою,
С мольбою – остаться живым и родным…
Как памятку сердца, я слышу их речи.
А ветер идёт по садам городским,
Качая на ветках рассеянный вечер.
Вокруг маяками стоят тополя…
Я, как с Байконура, поднялся из детства.
И кажется мне, что кружится Земля,
А я на орбите кружусь по соседству.

Крутояр

Раздел посвящён Донскому краю и донским писателям, деятелям искусств, его прославлявшим

«КРУТОЯР» — любимое место на Дону Михаила Александровича Шолохова

К 110-летию М.А. Шолохова

Михаил Шолохов

РОДИНКА

Рассказ

1

На столе — гильзы патронные, пахнущие сгоревшим порохом, баранья кость, полевая карта, сводка, уздечка наборная с душком лошадиного пота, краюха хлеба. Всё это на столе, а на лавке тёсаной, заплесневевшей от сырой стены, спиной плотно к подоконнику прижавшись, Николка Кошевой, командир эскадрона сидит. Карандаш в пальцах его иззябших, недвижимых. Рядом с давнишними плакатами, распластанными на столе, — анкета, наполовину заполненная. Шершавый лист скупо рассказывает: Кошевой Николай. Командир эскадрона. Землероб. Член РКСМ.

Против графы «возраст» карандаш медленно выводит: 18 лет.

Плечист Николка, не по летам выглядит. Старят его глаза в морщинках лучистых и спина, по-стариковски сутулая.

— Мальчишка ведь, пацанёнок, куга зелёная, — говорят шутя в эскадроне, — а подыщи другого, кто бы сумел почти без урона ликвидировать две банды и полгода водить эскадрон в бои и схватки не хуже любого старого командира!

Стыдится Николка своих восемнадцати годов. Всегда против ненавистной графы «возраст» карандаш ползёт, замедляя бег, а Николкины скулы полыхают досадным румянцем. Казак Николкин отец, а по отцу и он — казак. Помнит, будто в полусне, когда ему было лет пять-шесть, сажал его отец на коня своего служивского.

— За гриву держись, сынок! — кричал он, а мать из дверей стряпки улыбалась Николке, бледнея, и глазами широко раскрытыми глядела на ножонки, окарачившие острую хребтину коня, и на отца, державшего повод.

Давно это было. Пропал в германскую войну Николкин отец, как в воду канул. Ни слуху о нём, ни духу. Мать померла. От отца Николка унаследовал любовь к лошадям, неизмеримую отвагу и родинку, такую же, как у отца, величиной с голубиное яйцо, на левой ноге, выше щиколотки. До пятнадцати лет мыкался по работникам, а потом шинель длинную выпросил и с проходившим через станицу красным полком ушёл на Врангеля. Летом нонешним купался Николка в Дону с военкомом. Тот, за-

икаясь и кривя контуженную голову, сказал, хлопая Николку по сутулой и чёрной от загара спине:

— Ты того… того… Ты счастли…счастливый! Ну, да, счастливый! Родинка — это, говорят, счастье.

Николка ощерил зубы кипенные, нырнул и, отфыркиваясь, крикнул из воды:

— Брешешь ты, чудак! Я с мальства сирота, в работниках всю жизнь гибнул, а он — счастье!..

И поплыл на жёлтую косу, обнимавшую Дон.

2

Хата, где квартирует Николка, стоит на яру над Доном. Из окон видно зелёное расплескавшееся Обдонье и воронёную сталь воды. По ночам в бурю волны стучатся под яром, ставни тоскуют, захлёбываясь, и чудится Николке, что вода вкрадчиво ползёт в щели пола и, прибывая, трясёт хату.

Хотел он на другую квартиру перейти, да так и не перешёл, остался до осени. Утром морозным на крыльцо вышел Николка, хрупкую тишину ломая перезвоном подкованных сапог. Спустился в вишнёвый садик и лёг на траву, заплаканную, седую от росы. Слышно, как в сарае уговаривает хозяйка корову стоять спокойно, телок мычит требовательно и басовито, а о стенки цыбарки вызванивают струи молока.

Во дворе скрипнула калитка, собака забрехала. Голос взводного:

— Командир дома?

Приподнялся на локтях Николка.

— Вот он я! Ну, чего там ещё?

— Нарочный приехал из станицы. Говорит, банда пробилась из Сальского округа, совхоз Грушинский заняла…

— Веди его сюда.

Тянет нарочный к конюшне лошадь, потом горячим облитую. Посреди двора упала та на передние ноги, потом — на бок, захрипела отрывисто и коротко и издохла, глядя стекленеющими глазами на цепную собаку, захлебнувшуюся злобным лаем. Потому издохла, что на пакете, привезённом нарочным, стояло три креста, и с пакетом этим скакал сорок вёрст, не передыхая, нарочный.

Прочитал Николка, что председатель просит его выступить с эскадроном на подмогу, и в горницу пошёл, шашку цепляя, думал устало: «Учиться бы поехать куда-нибудь, а тут банда… Военком стыдит: мол, слова правильно не напишешь, а ещё эскадронный… Я-то при чём, что не успел приходскую школу окончить? Чудак он… А тут банда… Опять кровь, а я уж уморился так жить… Опостылело всё…»

Вышел на крыльцо, заряжая на ходу карабин, а мысли, как лошади по утоптанному шляху, мчались: «В город бы уехать… Учиться б…»

Мимо издохшей лошади шёл в конюшню, глянул на чёрную ленту крови, точившуюся из пыльных ноздрей, и отвернулся.

3

По кочковатому летнику, по колеям, ветрами облизанным, мышастый придорожник кучерявится, лебеда и пышатки густо и махровито лопушатся. По летнику сено когда-то возили к гумнам, застывшим в степи янтарными брызгами, а торный шлях улёгся бугром у столбов телеграфных. Бегут столбы в муть осеннюю, белёсую, через лога и балки перешагивают, а мимо столбов шляхом глянцевитым ведёт атаман банду — полсотни казаков донских и кубанских, властью советской недовольных. Трое суток, как набедившийся волк от овечьей отары, уходят дорогами и целиною бездорожно, а за ним вназирку — отряд Николки Кошевого.

Отъявленный народ в банде, служивский, бывалый, а всё же крепко призадумы-

вается атаман: на стременах привстаёт, степь глазами излапывает, вёрсты считает до голубенькой каёмки лесов, протянутой по ту сторону Дона.

Так и уходят по-волчьи, а за ними эскадрон Николки Кошевого следы топчет.

Днями летними, погожими в степях донских, под небом густым и прозрачным звоном серебряным вызванивает и колышется хлебный колос. Это перед покосом, когда у ядрёной пшеницы гарновки ус чернеет на колосе, будто у семнадцатилетнего парня, а жито дует вверх и норовит человека перерасти.

Бородатые станичники на суглинке, по песчаным буграм, возле левад засевают клинышками жито. Сроду не родится оно, издавна десятина не даёт больше тридцати мер, а сеют потому, что из жита самогон гонят, яснее слезы девичьей; потому, что исстари так заведено, деды и прадеды пили, а на гербе казаков Области Войска Донского, должно, недаром изображён был пьяный казак, телешом сидящий на бочке винной. Хмелем густым и ярым бродят по осени хутора и станицы, нетрезво качаются красноверхие папахи над плетнями из краснотала.

По тому самому и атаман дня не бывает трезвым, потому-то все кучера и пулемётчики пьяно кособочатся на рессорных тачанках.

Семь лет не видал атаман родных куреней. Плен германский, потом Врангель, в солнце расплавленный Константинополь, лагерь в колючей проволоке, турецкая фелюга со смолистым солёным крылом, камыши кубанские, султанские, и — банда.

Вот она, атаманова жизнь, коли назад через плечо оглянуться. Зачерствела душа у него, как летом в жарынь черствеют следы раздвоенных бычачьих копыт возле музги степной. Боль, чудная и непонятная, точит изнутри, тошнотой наливает мускулы, и чувствует атаман: не забыть её и не залить лихоманку никаким самогоном. А пьёт — дня трезвым не бывает потому, что пахуче и сладко цветёт жито в степях донских, опрокинутых под солнцем жадной чернозёмной утробой, и смуглощёкие жалмерки по хуторам и станицам такой самогон вываривают, что с водой родниковой текучей не различить.

4

Зарею стукнули первые заморозки. Серебряной проседью брызнуло на разлапистые листья кувшинок, а на мельничном колесе поутру заприметил Лукич тонкие разноцветные, как слюда, льдинки.

С утра прихворнул Лукич: покалывало в поясницу, от боли глухой ноги сделались чугунными, к земле липли. Шаркал по мельнице, с трудом передвигая несуразное, от костей отстающее тело. Из просорушки шмыгнул мышиный выводок; поглядел кверху глазами слезливо-мокрыми: под потолком с перекладины голубь сыпал скороговоркой дробное и деловитое бормотание. Ноздрями, словно из суглинка вылепленными, втянул дед вязкий душок водяной плесени и запах перемолотого жита, прислушался, как нехорошо, захлебываясь, сосала и облизывала сваи вода, и бороду мочалистую помял задумчиво.

На пчельнике прилег отдохнуть Лукич. Под тулупом спал наискось, распахнувши рот, в углах губ бороду слюнявил слюной клейкой и тёплой. Сумерки густо измазали дедову хатёнку, в молочных лоскутьях тумана застряла мельница…

А когда проснулся — из лесу выехало двое конных. Один из них крикнул деду, шагавшему по пчельнику:

— Иди сюда, дед!

Глянул Лукич подозрительно, остановился. Много перевидал он за смутные года таких вот вооружённых людей, бравших, не спрошаючи, корм и муку, и всех их огулом, не различая, крепко недолюбливал.

— Живей ходи, старый хрен!

Промеж ульев долблёных двинулся Лукич, тихонько губами вылинявшими беззвучно зашамкал, стал поодаль от гостей, наблюдая искоса.

— Мы — красные, дедок…Ты нас не бойся, — миролюбиво просипел атаман. — Мы за бандой гоняемся, от своих отбились… Може, видел вчера отряд тут проходил?

— Были какие-то.

— Куда они пошли, дедушка?

— А холера их ведает!

— У тебя на мельнице никто из них не остался?

— Нетути, — сказал Лукич коротко и повернулся спиной.

— Погоди, старик. — Атаман с седла соскочил, качнулся на дуговатых ногах пьяно и, крепко дохнув самогоном, сказал:

— Мы, дед, коммунистов ликвидируем… Так-то!.. А кто мы есть — не твоего ума дело! — Споткнулся, повод роняя из рук. — Твоё дело зерна на семьдесят коней приготовить и молчать… Чтобы в два счёта!.. Понял? Где у тебя зерно?

— Нетути, — сказал Лукич, поглядывая в сторону.

— А в энтом амбаре что?

— Хлам, стало быть, разный… Нетути зерна!

— А ну, пойдём!

Ухватил старика за шиворот и коленом потянул к амбару кособокому, в землю вросшему. Двери распахнул. В закромах просо и чернобылый ячмень.

— Это тебе что, не зерно, старая сволочуга?

— Зерно, кормилец… Отмол это… Год я его по зёрнушку собирал, а ты конями потравить норовишь…

— По-твоему, нехай наши кони с голоду дохнут? Ты что же это — за красных стоишь, смерть выпрашиваешь?

— Помилуй, жалкенький мой! За что ты меня? — Шапчонку сдёрнул Лукич, на колени жмякнулся, руки волосатые атамановы хватал, целуя…

— Говори: красные тебе любы?

— Прости, болезный!.. Извиняй на слове глупом. Ой, прости, не казни ты меня, — голосил старик, ноги атамановы обнимая.

— Божись, что ты не за красных стоишь… Да ты не крестись, а землю ешь!..

Ртом беззубым жуёт песок из пригоршней дед и слезами его подмачивает.

— Ну, теперь верю. Вставай, старый!

И смеётся атаман, глядя, как не встанет на занемевшие ноги старик. А из закромов тянут наехавшие конные ячмень и пшеницу, под ноги лошадям сыплют и двор устилают золотистым зерном.

5

Заря в тумане, в мокрети мглистой.

Миновал Лукич часового и не дорогой, а стёжкой лесной, одному ему ведомой, затрусил к хутору через буераки, через лес, насторожившийся в предутренней чуткой дрёме.

До ветряка дотюпал, хотел через прогон завернуть в улочку, но перед глазами сразу вспухли неясные очертания всадников.

— Кто идёт? — окрик тревожный в тишине.

— Я это… — шамкнул Лукич, а сам весь обмяк, затрясся.

— Кто такой? Что — пропуск? По каким делам шляешься?

— Мельник я… С водянки тутошней. По надобностям в хутор иду.

— Каки-таки надобности? А ну, пойдём к командиру! Вперёд иди… — крикнул один, наезжая лошадью.

На шее почуял Лукич парные лошадиные губы и, прихрамывая, засеменил в хутор.

На площади у хатенки, черепицей крытой, остановились. Провожатый, кряхтя, слез с седла, лошадь привязал к забору и, громыхая шашкой, взошёл на крыльцо.

— За мной иди!..

В окнах огонёк маячит. Вошли.

Лукич чихнул от табачного дыма, шапку снял и торопливо перекрестился на передний угол.

— Старика вот задержали. В хутор правился.

Николка со стола приподнял лохматую голову, в пуху и перьях, спросил сонно, но строго:

— Куда шёл?

Лукич вперед шагнул и радостью поперхнулся.

— Родимый, свои это, а я думал — опять супостатники энти… Заробел дюже и спросить побоялся… Мельник я. Как шли вы через Митрохин лес, и ко мне заезжали; ещё молоком я тебя, касатик, поил… Аль запамятовал?..

— Ну, что скажешь?

— А то скажу, любезный мой: вчерась затемно наехали ко мне банды эти самые и зерно начисто стравили коньми!.. Смывались надо мною… Старший ихний говорит: присягай нам, в одну душу, и землю заставил есть.

— А сейчас они где?

— Тамотко и есть. Водки с собой навезли, лакают, нечистые, в моей горнице, а я сюда прибёг доложить вашей милости; может, хоть вы на них какую управу сыщете.

— Скажи, чтоб седлали!.. — С лавки привстал, улыбаясь деду, Николка и шинель потянул за рукав устало.

6

Рассвело.

Николка, от ночей бессонных зелёненький, подскакал к пулемётной двуколке.

— Как пойдём в атаку — лупи по правому флангу. Нам надо крыло ихнее заломить!

И поскакал к развёрнутому эскадрону.

За кучей чахлых дубков на шляху показались конные — по четыре в ряд, тачанки в середине.

— Намётом! — крикнул Николка и, чуя за спиной нарастающий грохот копыт, вытянул своего жеребца плетью.

У опушки отчаянно застучал пулемет, а те, на шляху, быстро, как на учении, лавой рассыпались.

***

Из бурелома на бугор выскочил волк, репьями увешанный. Прислушался, угнув голову вперёд. Невдалеке барабанили выстрелы, и тягучей волной колыхался разноголосый вой.

Тук! — падал в ольшанике выстрел, а где-то за бугром, за пахотой эхо скороговоркой бормотало: так!

И опять часто: тук, тук, тук!.. А за бугром отвечало: так! так! так!..

Постоял волк и не спеша, вперевалку, потянул в лог, в заросли пожелтевшей нескошенной куги…

— Держись!.. Тачанок не кидать!.. К перелеску… К перелеску, в кровину мать! — кричал атаман, привстав на стременах.

А возле тачанок уж суетились кучера и пулеметчики, обрубая постромки, и цепь, изломанная беспрестанным огнём пулемётов, уже захлестнулась в неудержимом бегстве.

Повернул атаман коня, а на него, раскрылатившись, скачет один и шашкой по-

махивает. По биноклю, метавшемуся на груди, по бурке догадался атаман, что не простой красноармеец скачет, и поводья натянул. Издалека увидел молодое безусое лицо, злобой перекошенное, и сузившиеся от ветра глаза. Конь под атаманом заплясал, приседая на задние ноги, а он, дёргая из-за пояса зацепившийся за кушак маузер, крикнул:

— Щенок белогубый!.. Махай, махай, я тебе намахаю!..

Атаман выстрелил в нараставшую чёрную бурку. Лошадь, проскакав саженей восемь, упала, а Николка бурку сбросил, стреляя, перебегал к атаману ближе, ближе…

За перелеском кто-то взвыл по-звериному и осёкся. Солнце закрылось тучей, и на степь, на шлях, на лес, ветрами и осенью отёрханный, упали плывущие тени.

«Неук, сосун, горяч, через это и смерть его тут налапает», — обрывками думал атаман и, выждав, когда у того кончилась обойма, поводья пустил и налетел коршуном.

С седла перевесившись, шашкой махнул, на миг ощутил, как обмякло под ударом тело и послушно сползло наземь. Соскочил атаман, бинокль с убитого сдёрнул, глянул на ноги, дрожавшие мелким ознобом, оглянулся и присел сапоги снять хромовые с мертвяка. Ногой упираясь в хрустящее колено, снял один сапог быстро и ловко. Под другим, видно, чулок закатился: не скидается. Дёрнул, злобно выругавшись, с чулком сорвал сапог и на ноге, повыше щиколотки, родинку увидел с голубиное яйцо. Медленно, словно боясь разбудить, вверх лицом повернул холодеющую голову, руки измазал в крови, выползавшей изо рта широким бугристым валом, всмотрелся и только тогда плечи угловатые обнял неловко и сказал глухо:

— Сынок!.. Николушка!.. Родной!.. Кровинушка моя…

Чернея, крикнул:

— Да скажи же хоть слово! Как же это, а?

Упал, заглядывая в меркнущие глаза; веки, кровью залитые, приподымая, тряс безвольное, податливое тело… Но накрепко закусил Николка посинелый кончик языка, будто боялся проговориться о чём-то неизмеримо большом и важном.

К груди прижимая, поцеловал атаман стынущие руки сына и, стиснув зубами запотевшую сталь маузера, выстрелил себе в рот…

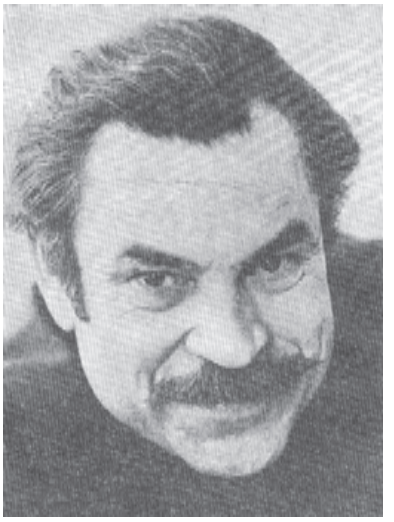
***

А вечером, когда за перелеском замаячили конные, ветер донёс голоса, лошадиное фырканье и звон стремян, — с лохматой головы атамана нехотя сорвался коршун-стервятник. Сорвался и растаял в сереньком, по-осеннему бесцветном небе.

1924 г.

Дон у станицы Вёшенской

Борис Куликов



ЭТО Я ХОЖУ – ПОЮ…

***

Гей! Опять в родном краю
Песня зазвенела:
Это я хожу – пою,
Вот какое дело!
Это я хожу – пою
Молодо и струйно.
Вторю славке, соловью,
Вторю Дону струнно,
Вторю клёкоту орлов
Под весёлым небом,
Вторю рокоту громов
Над весенним хлебом.
И повсюду по степи
Широко-широкой
Песня звонкая летит
Далеко-далёко.
Песню чистую мою
Дон родной покатит,
Молодые подпоют,
Старые подхватят.
Улыбнётся в вышине
Радостное солнце,
Вспыхнут звёзды в глубине
Чёрного колодца.
Песня, полная огня, –
Я пою такую! –

Жизнь нисколько не черня
И не лакируя.
И на сердце хорошо,
Жить не надоело,
Лишь бы пелося с душой –
Вот какое дело!

***

Люблю, когда работа
Негаданно возьмёт
В крутые обороты,
В суровый переплёт.
Люблю, когда отрада,
А если нет, хоть плюнь,
Не хочется,
Но надо –
То всё равно люблю!
Лишь было б всё с размахом,
И всё окрест – гуди!
Чтоб сердце, словно птаха,
Запело бы в груди.
Чтоб тело загудело
Не просто от похвал,
А от сознанья дела:
Косил, писал, пахал!
Лишь было бы до пота
Всего невпроворот...
Люблю, когда работа
Хорошая возьмёт!

ЗАПЕВ

Из-за Дона
песню выведу,
По России поведу,
Голосистую,
без выладу,
С подголосками в ладу!
И хорошей, незатученной
В русле бережном своём
Пусть течёт рекой задумчивой,
Разговорчивым ручьём.
Чтобы в радости и в горести
Песни чистую струю
Люди брали полным голосом,
Пели! Как от жажды пьют.
Пили, пели и хмелели

На веселье! В добрый час!
Чтобы ноги захотели,
Захотели сами в пляс.
Чтобы каждый гордо понял:
Хорошо, друзья, поём!
Чтобы каждый твёрдо помнил:
На своей
земле
живём!
Из-за Дона песню выведу,
По России поведу,
Голосистую,
без выладу,
С подголосками в ладу!

***

У моей Марусеньки
Русая коса…
(Из песни)

Ай да песня русская,
Дивная краса:
«У моей Марусеньки
Русая коса».
Услыхал заветную
В дедовском краю,
Да повёл по свету я –
Резвую, свою.
А про что напевная
С радостью-тоской?
Да про время гневное,
Да про род людской,
Да про степь ковыльную,
Да про милый Дон…
Да и про любимую
Мой сердечный стон:
«У моей Марусеньки
Русая коса».
У моей Марусеньки
Русские глаза! –
Карие, казачие,
Длинные, горячие.
Засмеётся – и нельзя
Песне не запеться,
А заплачет – так слеза
Прожигает сердце.

«ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ»

Ростовский академический молодежный театр. Юбилейный вечер хоровой музыки. Слева направо — председатель РО СК России, профессор Анатолий Цукер и министр культуры РО Александр Резванов

Ростовская композиторская организация отметила своё 75-летие масштабным фестивалем «Прекрасен наш Союз», который прошёл в ноябре 2014 года. Прежде чем рассказать об этом ярком событии в культурной жизни нашего региона, — несколько слов о том, как всё начиналось.

Годом создания Ростовской композиторской организации считается 1939-й, хотя есть причины считать, что фактически она сложилась уже к середине 30-х годов. Для этого имелись серьёзные основания. Уже в 20-е годы в Ростове действовала Донская консерватория, позже ставшая музыкально-практическим институтом, а затем — музыкальным техникумом (ещё позже — училищем). Одним из организаторов консерватории и первым её директором был Михаил Фабианович Гнесин, ученик Н. Римского-Корсакова и А. Лядова, уроженец Ростова, очень много сделавший для своего родного города. Он возглавил музыкальную секцию Донского отдела народного образования, выступил инициатором открытия трёх музыкальных школ в городе (одна из них носит его имя), ещё в 1916 году создал в Ростове общедоступную музыкальную библиотеку им.Римского-Корсакова. После переезда М.Ф.Гнесина в Москву, Донской консерваторией руководил Николай Захарович Хейфец, также окончивший Петербургскую консерваторию — сперва как тромбонист, позднее как композитор (учился у А. Лядова, Н. Соколова, М. Штейнберга, В. Витола). Н. Хейфец преподавал теоретические дисциплины, дирижировал симфоническим оркестром. Ученики и коллеги знали его как мастера оркестровки и чтения партитур. Так сложилось, что основу профессорско-преподавательского коллектива в целом составляли воспитан-

ники Петербургской школы — В. Золотарёв, Е. Брумберг, И. Готтбейтер, В. Шауб, М. Меркулов. Они значительно укрепили тот фундамент профессионального музыкального, в частности, композиторского образования на Дону, который был заложен ещё на рубеже XIX и XX веков первым директором училища Русского музыкального общества (РМО) М. Пресманом, соучеником и другом С. Рахманинова.

Ученики класса Н. Хейфеца — Т. Сотников, А. Артамонов, А. Митрофанов, А. Кравец, В. Захаров (позднее руководитель знаменитого хора им. М. Е. Пятницкого) стали первыми членами созданного Союза. В 30-е годы, в том же учебном заведении, преобразованном в музыкальный техникум, учились С. Заславский, З. Зиберова, Н. Гольм, П. Гутин, Л. Израйлевич, Г. Попов.

Первым председателем Ростовской композиторской организации стал ***Николай Эмильевич Гольм (Серебряный)***, возглавлявший её до начала войны (1939 – 1941). Далее Союзом руководили ***Зинаида Петровна Зиберова*** (1943 – 1945), ***Илья Галустович Шапошников*** (1945 – 1953), ***Алексей Павлович Артамонов*** (1953 – 1975), ***Владимир Феодосиевич Красноскулов*** (1975 – 1989), ***Леонид Павлович Клиничев*** (1989 – 2000), ***Юрий Борисович Машин*** (2000 – 2010). С 2010 года Ростовское отделение Союза композиторов России возглавляет ***Анатолий Моисеевич Цукер*** — заслуженный деятель искусств России, доктор искусствоведения, профессор.

Участники Камерного концерта

В составе РО СК 42 музыканта — 30 композиторов и 12 музыковедов: самому старшему 85 лет, а самому молодому — 24 года. Ныне в составе организации — народный и заслуженный артисты, 7 заслуженных деятелей искусств России и субъектов федерации, 4 почётных деятеля Союза композиторов России, два орденоносца, 7 докторов и 6 кандидатов наук, три академика, 12 лауреатов Международных, Всесоюзных и Всероссийских конкурсов, лауреаты премии Союза композиторов России им. Д.Д. Шостаковича и других премий.

Авторитет ростовских композиторов и музыковедов стабильно высок. Музыкальные произведения, созданные в Донской столице, широко исполняются во многих городах России и за рубежом. К сочинениям ростовских композиторов обращаются известные солисты и коллективы, включая Михайловский театр, хоровую капеллу им. А. Юрлова, оркестр им.Н. Осипова. Многие произведения опубликованы, причём не только в ростовских издательствах, но и в Москве, и в других странах. Немалое число работ давно и прочно входят в учебный репертуар, постоянно включаются в качестве обязательных в программы Всероссийских и Международных конкурсов. Музыка ростовских композиторов привлекает внимание журналистов и музыковедов, о ней опубликованы многочисленные статьи в периодической печати, издательством «Композитор» выпущен специальный сборник статей «Композиторы Ростова-на-Дону». Композиторы принимают участие в многочисленных фестивалях разного уровня, выступают их организаторами.

Музыковеды являются авторами опубликованных монографий, авторских сборников, сотен научных, публицистических и иных статей, регулярно выступают на Всероссийских и Международных научных конференциях, принимают активное участие в их организации и проведении, ведут редакторскую и музыкально-просветительскую деятельность.

Впечатляющая история и, насыщенная событиями, сегодняшняя жизнь Ростовской композиторской организации нашли своё отражение в масштабном юбилейном фестивале, получившем яркое и образное название «Прекрасен наш Союз».

Фестиваль включал в себя серию концертов и научно-практическую конференцию «Творческие союзы и композиторское творчество на постсоветском пространстве». Обо всём по порядку.

География фестиваля. Открылся фестиваль в Таганроге, в зале Дворца Алфераки 9 ноября 2014 года хоровым концертом; 10 ноября состоялся камерный концерт в Малом зале консерватории; на следующий день — вновь Таганрог, зал Музыкального колледжа и вновь Камерный концерт. «Главным аккордом» фестиваля стал хоровой вечер в Ростовском молодёжном театре 13 ноября, 14 ноября, ещё один камерный концерт с интересным названием «Все флаги в гости…» в стенах консерватории и, наконец, 15 ноября — торжественный финал – симфонический концерт в Большом зале Ростовской филармонии.

Участники фестиваля. В концертах прозвучала музыка ростовских композиторов разных поколений, — от признанных мастеров, основателей композиторской школы, до самых юных, тех, кто делает первые, но уверенные шаги в области музыкальной композиции. Объективности ради, упомянем их имена в алфавитном порядке: ***Нина Алхасова, Алексей Артамонов, Георгий Балаев, Елена Бурова, Галина Гонтаренко, Олег Горчаков, Александр Дзамели, Леонид Клиничев, Владимир Красноскулов, Анатолий Кусяков, Игорь Левин, Аракс Матевосян, Юрий Машин, Елена Николаева, Вячеслав Ноздрачев, Владимир Рыжов, Антон Светличный, Геннадий Толстенко, Михаил Фуксман, Евгения Хандова, Алексей Хевелев, Виталий Ходош, Владимир Шишин, Александр Шпак.***

Таганрог. Дворец Алфераки. Хор младших классов Детской музыкальной школы им. П. И. Чайковского «Акварель». Художественный руководитель — Ольга Пашкова

Наши гости. Какой же праздник без гостей? На юбилей прибыли композиторы ***Игорь Воробьёв*** из Санкт-Петербурга, ***Ацамаз Макоев*** из Владикавказа (Северная Осетия-Алания), ***Олег Проститов*** из Ставрополя, ***Екатерина Троценко*** из Севастополя (Крым), ***Рамазан Фаталиев*** из Махачкалы (Дагестан), ***Мерзие Халитова*** из Симферополя (Крым), ***Владимир Чернявский*** из Краснодара. Гости привезли свои поздравления и искренние пожелания, украсили афиши фестиваля своими именами.

Слово — музыковеду. Вступительные слова к концертам подготовили и произнесли ***Наталья Мещерякова, Светлана Надлер, Наталья Самоходкина, Александр Селицкий, Юлия Фролова и Анатолий Цукер.***

Что звучало. В программы концертов была включена, кажется, вся палитра музыкальных жанров от вокальной и инструментальной миниатюр до крупных симфонических полотен. В течение шести вечеров прозвучало 80 сочинений ростовских композиторов и гостей фестиваля.

Нина Алхасова. Баллада «Вечный странник» на сл. М. Волошина.

Алексей Артамонов. Финал Седьмой симфонии.

Георгий Балаев. Праздничный вальс.

Елена Бурова. Сонатина для фортепиано, «Осенние пьесы» для флейты и фортепиано.

Игорь Воробьёв. Соната для скрипки и фортепиано.

Галина Гонтаренко. Две части из сюиты «Провинциальные сюжеты», по рассказам Чехова, для фортепианного дуэта; фантазия «Затмение Луны» для инструментального ансамбля; фантазия «Эдит Пиаф» для баяна, струнного оркестра, магнитофонной записи и фортепиано.

Олег Горчаков. Пять пьес из сборника инвенций «Полифоническая тетрадь» для двух синтезаторов.

Александр Дзамели. Квинтет для трубы и струнного квартета.

Леонид Клиничев. «Звуки» на сл. М. Лермонтова.

Владимир Красноскулов. «Мажория» на сл. С. Острового, «Отец, расскажи мне о прошлой войне» на сл. А. Дементьева, «Три смелых зверолова» на сл. С. Маршака, «Птички» на сл В. Лисичкина, «Но это всё потом» из хорового концерта на сл. Д. Самойлова «Где-то около природы, где-то около судьбы», «Русская доля» из хорового концерта на сл. М. Цветаевой «Россия, рябина…», «Царскосельская статуя» на сл. А. Пушкина, фрагменты хорового концерта «Я люблю человеческий голос» на сл. Ф. Гарсиа Лорки, три хора на сл. Р. Гамзатова: «Скажи о, море», «Я не хочу тебе петь колыбельной», «Где же ты, счастье?», первая часть кантаты «Нужная весна» на сл. А. Дрилинги, «Черешенка» на сл. В. Залужного, «Куда девался паровоз?» на сл. И. Мазнина, вокальный цикл «О, март — апрель» на сл. Д. Самойлова.

Анатолий Кусяков. Донская праздничная увертюра.

Игорь Левин. «Дельфины» на сл. О. Левицкого, «Тараканище» на сл. К. Чуковского.

Ацамаз Макоев. «Провинциальные пьесы» для фортепиано.

Аракс Матевосян. Дуэт Графини и Князя из оперы «Любовь графини Д. в письмах и стихах», финал Четвёртой симфонии.

Юрий Машин. Офорты для скрипки и фортепиано, Древнерусские сказания.

Светлана Надлер. Три детские песни: «Мэри и баран» на сл. С. Маршака, «Ученик Петров Кирилл» на сл. Л. Каминского, «Удивительный слон» на сл. И. Мазнина.

Елена Николаева. Вокальный цикл на сл. К. Бальмонта.

Вячеслав Ноздрачев. Соната для фагота и фортепиано.

Олег Проститов. Три русские песни на сл. А. Блока.

Владимир Рыжов. «Лучезарный вечер» на сл. Ф. Тютчева, «Элегия» на сл. Л. Филиппова.

Антон Светличный. «Generation Ctrl-C» для фортепиано.

Геннадий Толстенко. «Песнь о Шамбале» из сюиты «INFINITO».

Екатерина Троценко. «Молитва Ангелу», «Богородица, дева, радуйся».

Рамазан Фаталиев. «Посвящение Бартоку» для скрипки и фортепиано.

Михаил Фуксман. «Всё же — былицы» для четырёхструнной домры и фортепиано, «Sea frenzy» («Ярость моря») для баяна, «Рахманинов — рапсодия в красном, чёрном и голубом» для фортепиано и симфонического оркестра.

Мерзие Халитова. Струнный квартет (Памяти выдающегося поэта и учёного Бекира Чобан-заде).

Евгения Хандова. Концертино для трубы с оркестром.

Алексей Хевелев. Соната для фортепиано.

Виталий Ходош. Маленькая кантата «Гиппопоэма» на сл. Р. Мухи, «В погоню за мечтой» на сл. Н. Скрёбова и Л. Шатуновского, «Нами земля жива» на сл. Д. Долинского, «Песенка о добре и чуде» из оперы «Курочка Ряба» на сл. Г. Ворониной, две части из цикла «Пять вредных советов Григория Остера», кантата «По прочтении «Архиерея» А. Чехова» на стихи А. Пушкина, Б. Пастернака и тексты православного богослужения, «Вечерняя музыка» на тексты православного богослу-

жения, «Полюбил богатый бедную» на сл. М. Цветаевой, «Зимняя дорога» на сл. А. Пушкина, «Хор воробьёв» из оперы «Репка» на сл. Г. Ворониной.

Владимир Чернявский. «Времена года» на сл. И. Яворской, обработка народной песни «Вы казачки, казачки».

Владимир Шишин. Токката для баяна, симфоническая поэма «В котле».

Александр Шпак. Сюита «Non Stop» для скрипки и фортепиано, хор «Весна пришла» на слова автора. Прелюдии для фортепиано.

Исполнили перечисленные сочинения — Ростовский академический симфонический оркестр, хор ростовской консерватории, муниципальный камерный хор «Лик», муниципальный камерный ансамбль «Каприччио», детский хор Ростовской консерватории, камерный хор «Соловушко» ДМШ им. П.И. Чайковского, городской хор мальчиков, хоровые коллективы ДМШ им. П.И. Чайковского «Акварель» и «Весенние голоса», камерный хор «Ассоль», камерный хор ДШИ п/р А. Лапенко, вокальный ансамбль «45 параллель», ансамбль шумовых инструментов п/р С. Пико.

В концертах участвовали лауреаты Международных и Всероссийских конкурсов, студенты, выпускники и преподаватели Ростовской консерватории.

За дирижёрским пультом в Симфоническом концерте стоял народный артист России ***Мурат Аннамамедов,*** солировали заслуженный артист России ***Юрий Шишкин,*** лауреаты международных конкурсов ***Софья Бугаян*** (фортепиано), ***Андрей Борзенко*** (труба).

Научные дебаты. На протяжении двух дней актуальные вопросы композиторского творчества и деятельности творческих организаций обсуждали на научно-практической конференции «Творческие союзы и композиторское творчество на постсоветском пространстве». С докладами выступили представители ростовской научной школы, доктора искусствоведения, профессора ***А.М. Цукер, Т.С. Рудиченко, Т.В. Франтова,*** кандидаты искусствоведения, профессора ***И.П. Дабаева, Г.Е. Калошина, Е.В. Показанник,*** кандидаты искусствоведения, доценты ***Н.А. Мещерякова, М.А. Фуксман,*** старший библиограф ***К.А. Жабинский,*** молодые учёные ***З.М. Тлехурай, В.В. Горочная.*** Поддержали научную акцию видные деятели современной музыкальной науки из других вузов, доктора искусствоведения профессора ***Е.Б. Трембовельский*** (Воронежский институт искусств), ***Е.С. Мироненко*** (Академия музыки, театра и изобразительного искусства Молдовы, г. Кишинёв), ***Л.В. Гаврилова*** (Красноярский институт музыки и театра), ***Е.С. Зинькевич*** (Национальная музыкальная академия им. П.И. Чайковского, г.Киев), ***К.В. Зенкин и М.И. Катунян*** (Московская консерватория им. П.И. Чайковского), ***И.С. Воробьёв*** (Санкт-Петербургская консерватория им.Н.А. Римского-Корсакова), кандидат искусствоведения, профессор ***Т.Н. Тимонен*** (Петрозаводская консерватория им.А.К. Глазунова), доктор философских наук, профессор ***В. Исмаилов*** (директор НМЦ по культурологи Министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики, г.Баку), ***И.В. Насонов*** (зам.председателя СК Республики Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ).

Поздравили Ростовскую композиторскую организацию с юбилеем первый заместитель Губернатора Ростовской области И.А. Гуськов, министр культуры Ростовской области А.А. Резванов, заместитель Председателя Союза композиторов России В.В. Задерацкий.

Помогли осуществить фестиваль Правительство Ростовской области и Министерство культуры Ростовской области. Концертные площадки любезно предоставили Ростовская государственная консерватория им.С.В. Рахманинова, Ростовская государственная областная филармония, Ростовский областной академический молодёжный театр.

Слово председателю: «Завершить этот обзор хочется словами великого А. С. Пуш-

кина: «Друзья мои! Прекрасен наш союз! Он, как душа, неразделим и вечен». Эти поэтические строки не только дали название фестивалю, но и подарили ему особое настроение — радости, сопричастности, сотворчества и ещё больше сплотили музыкальное содружество композиторов, музыковедов, исполнителей и слушателей».

А ещё эти слова, по мнению председателя Ростовской композиторской организации А.М. Цукера, является действительной «характеристикой» нашего Союза, который доказал её справедливость всей своей 75-летней историей. А от себя хочется добавить — и ещё не раз докажет!

Наталья Самоходкина, член РО СК

(В статье использованы материалы буклета фестиваля и работы А.Я. Селицкого)

Симфонический концерт

Крутояр

Окончание

Дорогие писатели, литераторы и читатели!

Год 2015-й впервые в нашей стране объявлен Годом Литературы, что совпало со знаменательной датой классика русской литературы Михаила Александровича Шолохова — 110-летием со дня его рождения. Раздел «Крутояр» будет постоянно публиковать произведения на эти юбилейные, важные для донской и российской литературы, темы, и потому мы ждём от вас новых работ, посвящённых Году Литературы, М.А. Шолохову и Донскому краю.

Редколлегия

Галина Студеникина

«Я – БОГ, Я – СВЕТ»

ОШАЛЕЛОСТЬ

Я – Бога партнёр, наречённый поэтом…
(В. Василенко)

Мне возомнилось: я партнёр.
Легки мне Господа седины –
как словом, делом
мы едины!
На благо иль наперекор,
но сути дела не постичь,
не постигая сути слова.
«Я – бог, я – свет», –
понятно снова.
Но вдруг срываюсь в паралич
души и тела… Даже дух
(из транса или «осененья»…)
извлёк на ум, как обух, мненье:
Господь к сотрудничеству… глух.

Дожди смолистой черноты
ночь опрокинула на окна.
Сама – до веточки намокла,
до звёзд, до Бога… До черты.

Студеникина Галина Валерьевна, член Союза писателей России (с 20068 года), поэт, автор восьми поэтических сборников, главный редактор журнала «ДОН_новый». Живёт и работает в Новочеркасске Ростовской области.

Отяжелела седина,
глухой залепленная смолью.
Ту тяжесть
просто кровью
смою ль:
во власть бредовости сдана
премудрость с поднятым перстом.
Тот бред – как чёрных дыр «содырья»
в час звёздный…
Нет! Не поводырь я,
чтоб, дом оставив под крестом,
вести сквозь тьму себя, слепца,
на равных с Богом!..
Где ж партнёрство!?
Обман. Нелепица… Позёрство.
Оруженосца и гонца
так занесло,
что сам оглох
от воплей – что ему смоглось бы!..
Я ошалел от Божьей просьбы:
«Люби
и будешь,.. точно Бог».

ГОЛОЛЁД

Душа – обледенелая:
и правая, как… «левая»,
как тать,
морилась голодом
и обжигалась холодом.

На смерть болезнетворные,
на ложное притворные;
убойные намеренно,
уронные заверенно –
дожди,
в январь пролезшие!
От мёрзлых струй ослепшая,
наветом голым скована,
душа в саду изломанном
крепи?тся – одинокая.
Пред Богом
не высокая,
не вольная, не видная…
Но, право же,.. невинная!
Ждёт марта, не наивная.

Алексей Береговой

КРАСНЫЕ ОГНИ

Повесть

Предисловие автора

Я долго думал, к какому жанру отнести это литературное произведение: роману или повести. И всё-таки склонился к повести, — наверное, так будет более правильно.

В этом году повести исполнилось двадцать пять лет. Она — о молодёжи и написана для молодёжи, хотя была неплохо принята и людьми старшего возраста. Ведь все мы когда-то бываем молодыми, потому часто остаёмся таковыми в душе, несмотря на прошедшие годы. Для меня же эта повесть памятна ещё тем, что, выйдя отдельным изданием, она стала моей второй книгой, по которой меня приняли в Союз писателей России.

И потому, откликаясь на предложение редсовета журнала «ДОН_новый» и учитывая то, что сегодня в России Год Культуры, я согласился вновь опубликовать повесть «Красные огни» без всяких изменений и доработаок в надежде, что кто-то и из современной молодёжи тоже найдёт в ней что-то для себя интересное и полезное.

И ещё, чтобы сразу ответить на вопрос, который мне уже задавался неоднократно, я хочу сообщить читателю, что повесть «Красные огни» — произведение не автобиографическое, хотя и написано от первого лица. Все образы героев в ней частично собирательные, частично выдуманные.

Автор

Береговой Алексей Григорьевич, член Союза писателей России с1992 г., прозаик, публицист. Автор 12 книг прозы и публицистики. С 2008 г. — председатель Ростовского отделения и член Президиума Литературного фонда России. С 2010 г. — член Общественной Палаты Администрации г. Ростова-на-Дону. С 2011 г. — председатель правления Ростовского регионального отделения СП России, секретарь правления Союза писателей России, с 2014 г. — член Приёмной Коллегии СП России. Живёт и работает в г. Ростове-на-Дону.

***

…За последним вагоном
погонится отсвет по шпалам
Ты вглядишься в него –
и в груди ощутишь пустоту,
будто сердце твоё
уплывает
фонариком алым,
льётся кровью по рельсам
и гаснет
на громком мосту…
Марк Максимов

ГЛАВА ПЕРВАЯ

11 марта *г. Кадиевка*

Здравствуй, Володя!

Извини, что долго не писала. Видишь ли, Андрюшка прислал мне твой адрес и написал, что ты просил моё фото. Адрес твой я где-то потеряла, и все мои поиски оказались напрасными. Пришлось ловить случай, он, наконец, подвернулся, и теперь я постараюсь наверстать упущенное.

Я часто вспоминаю наши летние похождения, и в такие минуты мне бывает очень грустно — у нас сейчас очень дрянная погода: ветер, грязь, сырость, а моя «страдающая» душа так хочет лета, солнца! Вообще-то, летом здесь, наверное, здорово — понимаешь, с одной стороны нашего дома (через три квартала) — степь, с другой, совсем близко, — лесопитомник, так что просто прелесть…

Дома сейчас сидеть очень скучно. Каток уже растаял, на танцы по грязи шлёпать неохота. Правда, четырнадцатого пойдём на мотобол, приезжают играть из города Шахты.

В апреле сдаём экзамены, потом нас пошлют на практику в Феодосию или Геленджик.

Зимняя практика прошла в Коммунарске — обеспечивали строителей питательным рационом. Говорят, эта стройка войдёт в историю, потому что такой стройки ещё не было в стране. Реконструируется огромный металлургический комбинат, и в самые сжатые сроки — одиннадцать месяцев. Работают там четырнадцать тысяч человек, и кого только нет среди них!

На май думаю поехать в Новошахтинск, если, конечно, не будет каких-либо препятствий.

В общем, сижу дома. На теорию не пошла — не подготовила доклад по обществоведению, а пару получать почему-то нет желания.

С Наткой живём дружно. «Бастуем» вместе, к директору отчитываться тоже ходим вместе. Сейчас она сидит и повизгивает — поёт. О чём? Не пойму. Впрочем, этим мы занимаемся каждый вечер, и зовётся оно у нас «игрой в искусство». Потом ночью крепко спим, а утром совсем не хотим вставать, поэтому часто моем полы в училище. Ничего не поделаешь — ввели самообслуживание.

Ну, ладно, пора заканчивать, а то Наткино терпение заканчивается, а я не хочу стать её «жертвой». Привет твоему другу, который приезжал в Новошахтинск.

Посылаю тебе свою физиономию. Надеюсь, с твоей стороны задержек не будет.

До свиданья, Лариса.

1

— Вовка, с тобой одна девчонка хочет познакомиться! — таинственным шёпотом продышал мне в ухо мой старинный приятель Андрюшка Ремезов. — Во-от такая! — задрал он кверху большой палец руки. — Не пожалеешь!

Мне почти шестнадцать лет, и ничто мальчишеское ещё не забыто. Мимо девчонок по-прежнему несёшь независимый вид — при случае можешь даже изобразить презрение на лице, — но, пока ещё тайком, смотришь на них уже иначе, чувствуешь, есть что-то в них такое — туманит голову, волнует сердце при встрече и хочется глянуть ещё раз, сказать пару слов, да и компания их не так уж плоха, недурно даже посидеть вечером где-то на лавочке вместе и поболтать. Они такие разные, но интересные… Только вот Андрюшка? Удивил, зануда! На целых три года моложе и туда же — «не пожалеешь»! Я глянул на него, как на чудо заморское, но спросил деловито:

— Кто?

— Ларка Воронцова.

— Да я же её знаю вот с такого! — показал я ладонью возле колена, чувствуя, как зачастило, заколотилось сердце, сделалось сухо во рту. Неужели, правда? Сама хочет! Не может быть…

— Знать-то ты знаешь, — рассудительно возразил Андрюшка, — а всё равно не знаком!

Точно. Ларку я знал давно, но никогда с ней не разговаривал, даже здоровался как бы приблизительно: вроде и да, вроде и нет. Жили мы почти рядом, но я, как приезжий, мог видеть её случайно, только на улице. И, надо сказать, нравилась она мне, то есть заметил я это совсем недавно, вернее, понял, — притягивает она чем-то мой взгляд, заставляет помалкивать, а потом долго смотреть вслед. Но всё же представить такое, да ещё со слов Андрюшки?.. Нет, об этом я даже думать не мог!

— Не врёшь? — на всякий случай спросил я, изображая равнодушие.

— Во! — чиркнул Андрюшка ногтём большого пальца по зубам. — Клянусь!

— Смотри у меня!

— Она сказала, если хочешь с ней дружить, приезжай на поляну сегодня вечером. Часов в восемь.

— Хорошо, поедем.

— И я?

— И ты.

— Про меня она ничего не говорила, — упёрся он.

— Привет! А кто же нас знакомить будет? Тётя Дуся, что ли?

— Ладно, — без охоты согласился Андрюшка, — поедем.

— Она того… не смеялась? — Я все ещё не верил Андрюшке. — Странно как-то: ни с того, ни с сего…

— Ты чё, боишься? — оживился вдруг Андрюшка и совсем неожиданно добавил:

— Зря. Законная девчонка!

Я снова посмотрел на него, как на что-то диковинное. За всё время нашей дружбы, которая, можно сказать, началась сразу после того, как Андрюшка покинул пелёнки, ничего подобного он не говорил. Но моё удивление его ничуть не трогало, он увидел Пирата, засвистел, позвал:

— Пират, Пират, ко мне!..

Пират — собака добродушная, тихая, но здоровенная и страшная на вид. Живёт в Андрюшкином дворе давно, не знаю, сколько лет, но, кажется, он был всегда. Андрюшка ужасно доволен его зверской мордой, длинной, лохматой шерстью, — собаку боялись, а для Андрюшки это верх блаженства. Очень хорошая у него собака! Правда, сколько раз он орал до хрипоты: «Ар-ря! Ар-ря!..», — пытаясь натравить её хотя бы на

кошку, но Пират только преданно смотрел на Андрюшку умными глазами, да лениво вилял широким, как рукав купеческой шубы, хвостом. Ну и что с того? Нашёл всё же Андрюшка применение его громадности: впрягал зимой в санки, и Пират, словно пушинку, волок их вместе с Андрюшкой под весёлый смех, улюлюканье и припрятанную зависть. И в этом тоже была исключительность Андрюшкиной собаки.

Сейчас Андрюшка подрос, Пират постарел, потому упряжка была отменена, но друзьями они оставались большими.

Пират выскочил в открытую калитку, валко притрусил к нам. Андрюшка долго елозил пятернёй по его кудлатой голове, пришёптывал:

— Пиратушка! Клёвая собачка! Пиратушка…

Тот, понимая, старался лизнуть его руку.

2

Новошахтинск — городок тихий, зелёный. Дома-усадьбы, узкие улочки, сады, сады… Мелькнёт шахтёрский барак, облепленный летними кухнями, сараюшками из «халабудной всячины» да кое-где двух-трехэтажный дом, редкая мощёная дорога к шахте. Лишь одна улица широкая, асфальтированная, мимо шахтных поселков, — на неё нанизаны магазины, кинотеатры, парк, стадион. От вокзала — к рынку. Что-то вроде центра. В городе иногда пыльно, иногда грязно, всё подкрашено синеватым налётом штыба, но всё же деревенисто уютно, обжито трудно, но привычно. По ночам в серебристом небе алеют чёткие вехи города — рубиновые звезды тёмно-синих копров. Народ разный, приехал заработать со всех концов страны, да и остался, умеет вкалывать, но и веселится не хуже — если выпадает праздник, гуляет как в последний раз. Со своим винегретистым языком, мешаниной обычаев здесь теперь все — новошахтинцы, шахтеры, а это уже много…

Клёны и ясени вдоль заборов нашей Тихой улицы смыкаются в сплошной тенистый коридор, ковёр густого спорыша посередине прочерчен двумя мягкими пыльными строчками — следами редких машин. У калиток обязательно лавочки — вечерами есть, где посидеть, побеседовать душевно, — из дворов можно переговариваться, не повышая голоса. Улица застраивалась сразу после войны, в основном — особнячками на одну семью, и с тех пор живут здесь на виду друг у друга, а соседи порой роднее иных родственников.

Вечерами по дворам разбегается небольшое стадо коз (коров здесь почему-то не держали даже до запрета), поднимая пыль и взбалтывая блеяньем настоявшуюся за день тишину.

В трудные послевоенные годы коз было совсем мало. На Тихой только Андрюшкины родители имели пяток, да по округе набиралось ещё десятка три. Мы, мелкота нашей улицы, слонялись вечерами у Андрюшкиной калитки и с нетерпением ждали, когда его мать пошлёт нас встречать коз. Этот миг наступал, и мы мчались на недалёкую окраину города, находили стадо, узнавали «своих», гнали домой. Потом галчатами галдели на чисто выскобленном, деревянном некрашеном крыльце, пока Андрюшкина мать заканчивала дойку.

Уже в тёплых сиреневых сумерках она приносила подойник в летнюю кухню, цедила молоко, и каждый из нас получал по маленькой стеклянной банке из-под килек пенистой, душистой влаги. Мы медленно тянули сквозь зубы парное молоко, потом долго слушали разговоры взрослых, пока не начинали засыпать прямо на ступеньках. Тогда Андрюшкина мать разгоняла нас по домам.

Этой нашей уличной мелкоты собиралось человек шесть-семь, да своих у неё было пятеро (самый младший — Андрюшка, только-только выучился топать пухлыми ножками), но всем доставалось обязательно поровну, и молоко исчезало в какие-то четверть часа.

Было ли это проявлением доброты? Жалела ли нас Андрюшкина мать? Не знаю.

Тогда многое было негде купить, но и многое не продавалось. Как и доброта. Как и человеческое отношение к людям. Ещё свежи были в памяти военный кусок хлеба и слёзы вместо соли, люди ещё не научились выставляться друг перед другом своим «умением жить», не вызрело ещё этакое соцсоревнование в способности «достать», «заиметь» — так что, наш молокопой был штукой в общем-то нормальной и вряд ли тогда нёс на себе отметины значительности.

Сколько помню себя в детстве, в доме моих дедушки и бабушки всегда были гости или просто кто-то подолгу жил по каким-то неведомым мне причинам. Родственники, близкие и не очень, просто знакомые и совсем чужие люди, приехавшие по чьёму-то совету к деду с просьбой о помощи. Дед постоянно кому-нибудь в чём-то помогал. Всю жизнь он провёл на партийной работе и для себя, как говорится, не заработал лишних штанов — ему некогда было даже думать об этом, да и не смог бы он просто. Он вышел на пенсию, и забот у него не убавилось: напирая на свой авторитет, он продолжал заниматься чужими проблемами, и люди шли к нему, ехали, а дед никому отказать не мог. Это было в его натуре. Иногда он был резким, как клаксон, прямым, как заводская труба, даже грубым, но безразличным — никогда. Не знаю, может, что-то у него не получалось, но люди верили в него, и я всегда слышал о нём только хорошее, уважительное, даже если говоривший не ведал кто я, — видимо, простой народ всегда знает точно, кто с ним.

Когда дед умер, Тихая улица была запружена людьми. Никто не считал, сколько их: две тысячи, или три, или все пять, но по Новошахтинским меркам их была тьма, и никто из наших родных даже не предполагал, что столько людей соберётся на похороны пенсионера. И вся эта толпа провожала деда на кладбище. И говорила хорошие слова. Мне запомнилась одна неизвестная женщина, — она плакала и рассказывала людям, как дед спас её двух детей от голодной смерти, достав ей, вдове Отечественной войны, в сорок седьмом году мешок муки. Я особо не представлял, что значил в сорок седьмом году мешок муки и как он мог спасти от смерти, но понимал — раз достал, значит, было трудно, — в доме деда это слово считалось выражением крайней нужды, и в дом никогда ничего не доставалось. И таких примеров, забытых случаев было множество. Но люди ведь помнят всё. И даже самое мелкое для кого-то может стать огромным. А если помнят люди только хорошее, это — лучшая благодарность всей прожитой жизни, её цена. И я всегда гордился дедом.

И сейчас в городе есть район частной застройки, названный именем деда. Названный неофициально жителями этого посёлка и, может быть, повторяется теперь людьми, мало представляющими себе историю этого названия. А это он, дед, после войны добился разрешения на застройку этой территории, помогал получать планы, и люди по-своему отметили это.

Ну а по праздникам гостей всегда был полон дом. И обязательно — застолье. Широкое, доброе застолье, от сердца. Это была семейная традиция, если можно назвать всех родственников со стороны бабушки и со стороны деда одной большой семьёй. Тогда, наверное, можно было. В отличие от настоящего времени. Бедность сплачивает людей. На стол выставлялось всё, на что была способна южнорусская хозяйка. Ведь говорят же: у казачки — поспать, у хохлушки — поесть. А здесь как бы всё вместе. Из самых простых продуктов моя бабушка могла сотворить чудо кулинарии, а люди тогда могли быть плохо одетыми, всю жизнь проходить в сапогах и фуфайке — ценилась не внешность, а душа, порядочность, — но они любили хороший стол, знали в нём толк и всегда хвалили бабушку. И странное дело, за столом могли просидеть хоть двое суток подряд, но редко кто перепивался или объедался.

И ещё они любили песню. Песня за столом была обязательной, как сейчас телевизор в квартире. И не просто песня, а маленький спектакль. Я и сейчас удивляюсь, как это могло у них получаться? Они не просто пели или, там, орали после двух-трёх

рюмок, сбивая настроение. Они пели так, словно всю жизнь занимались в каком-то хорошем хоре, будто учил их пению какой-нибудь знаменитый профессор, мастер своего дела. Но чаще ведь случалось так, что пели-то они вместе всего два-три раза. Я не знаю тонкостей этого дела, и вряд ли знает их кто-то из нашего поколения, — наверное, они утеряны для нас. Разве что, — специалисты, если ещё есть такие. Но пытаюсь вспомнить — и на душе становится теплее. Боже, как много мы потеряли своего, русского...

Пелось очень ладно и умело. Кто-то заводил песню, кто-то пел первым голосом, кто-то — вторым, кто-то вёл хор или просто подпевал. Но как это у них получалось! Они не пели, они играли песню! И не дай бог кому сфальшивить — насмешек не оберёшься, — они очень тонко чувствовали мелодию.

А лучше всех пела моя бабушка. Во всяком случае, я был уверен в этом.

Что это такое? Высокая народная культура праздников? Духовность? Традиции? Не знаю. Без музыки, без нот, песня звучала. Да и записана она была только в памяти людей. Играли её талантливо, с пониманием. К ней приучали из поколения в поколение. И даже те, кто совсем был «глух», вносили свою капельку в общую игру, не портя её. Каждый знал свои возможности.

Мы — детвора местная и приезжая — сидели в соседней комнате и слушали, разинув рты. И даже не баловались, не выясняли отношений.

Сейчас всё застолье зачастую сводится лишь к желанию крепко выпить да набить желудки. И, может быть, тот, кто ещё не совсем ленив, захочет потоптаться под грохот магнитофона или акустической системы. Они в доме теперь главные. А поговорить-то особо не о чем, тем более — спеть. А уж запоёт кто, так это точно «кто в лес, кто по дрова». Мы стали слишком расчётливы, боимся не так принять, не то подать на стол, не хотим головой работать, больше сетуем на отсутствие хороших продуктов в магазинах (будто раньше их было много), говорим о дороговизне и потому не любим ходить в гости и соответственно — принимать. Вот и живём, находясь рядом, словно на разных полюсах планеты.

Со смертью деда большая, дружная семья родственников потихоньку стала распадаться. Одни уехали, другие умерли, третьи подзабыли, родились новые, ни о чём не знающие. Но пусть это отступление — так, немного штрихов к лицам жителей Новошахтинска...

Моя бабушка жила напротив Андрюшки, Ларка — метрах в трёхстах дальше по улице.

Зелёный коридор Тихой улицы упирался в широкую поляну, которую почему-то забыли застроить. На поляне раздолье для коз и детворы. Тут проходили все футбольные баталии между уличными командами, а тёплыми синими сумерками пацанва гоняла по мягкому спорышу в «казаки-разбойники» или в «жмурки», пока сердитые мамаши не загоняли её по домам.

На поляну опускалась плотная, переливчатая ночь, и на дальнем краю кто-нибудь зажигал костёр, ребята постарше мотыльками слетались на его свет. Здесь всё было интересно и каждый раз ново. Можно было пару раз «дёрнуть» общий «бычок», всегда узнать новости, а главное — послушать какую-нибудь невероятную историю, что случилась давно или совсем недавно, но обязательно с кем-то из только рассказчику знакомых людей, которые «железно» не станут врать. И всё было таким таинственным и заманчивым в красноватых бликах костра.

И первые свидания назначались здесь же, на какой-нибудь из лавочек по краям поляны.

Мои родители обожали Новошахтинск. Они считали его лучшим местом для лет-

них каникул, и я ездил сюда постоянно — когда охотно, когда не очень, но обязательно. И, наверное, потому был своим и на поляне, и в местных футбольных сражениях.

3

Целый день во мне боролись нетерпение со страхом. Ведь это же здорово — «моя девчонка!», — но это же и в первый раз! Сердце полнилось чем-то огромным, волнующим и пока непонятным...

Три девчонки сидели на лавочке в конце поляны — за спинами штахетины высокого забора. Я крутил педали и пытался узнать в них Ларку. Почему-то росла и росла тревога… Наконец, я узнал её, и мне стало жарко.

Подъехав, пофорсил секунду, стоя на месте и поводя рулём, будто дожидаясь, пока Андрюшка сползёт с багажника, потом, стараясь сохранять достоинство, спешился сам.

Ларка скользнула по нам взглядом и, словно не заметила ничего интересного — продолжала болтать с подружками. В моей душе кипело возмущение, очень хотелось треснуть Андрюшку по стриженому затылку. Трепло!

А тот и не собирался смущаться. Он подвинул Ларкину подружку, втиснулся задом на скамейку и брякнул прямо:

— Ну чё, будешь знакомиться? Вот, привёл...

Девчата сразу притихли, смотрели то на меня, то на Ларку. По-моему, Ларка усмехнулась.

— Ну, раз привёл... давай знакомиться. Это Вера, это Наташа, а я — Лариса. Твоего друга, кажется, зовут Володей. Так? — Она смотрела на меня в упор.

Ну, болван! Попался на голый крючок! Знал же, что с девчонками лучше не связываться!

— Да... — буркнул я и, наверное, покраснел, схватился за велосипед, собираясь смыться.

— Постой! — сказала вдруг Ларка. — Давай покатаемся…

Ездил на велосипеде я тогда лихо. Мог влетать на большой скорости в любую калитку — лишь бы руль прошёл, — стоять на месте; гонял по лестницам, узеньким кривым тропинкам, «с рулём» и «без руля», — всегда быстро и неутомимо. Удивляться здесь было нечему — расставались мы с велосипедами тогда только для того, чтобы поесть, поспать, да была у нас ещё одна страсть — футбол.

Лариса села на багажник, и мы поехали.

Допоздна носились мы по улицам, и я, чувствуя за спиной драгоценный груз, старался изо всех сил. Какое-то новое, радостное чувство захлёстывало меня. Неприятности быстро позабылись, и было легко оттого, что всё оказалось, в общем-то, простым, не пришлось ничего из себя строить или изображать и, наверное, дружить с девчонкой совсем неплохо.

Мы пили воду из колонки, обливаясь и брызгаясь, ели мороженое у высокой решётчатой ограды танцплощадки в старом городском парке и смотрели на пёструю толпу танцующих под эстрадный оркестр. Сквозь тёмные, густые кроны деревьев проглядывали крупные звёзды, жёлтые фонари бросали на песчаные аллеи странные тени, от клуба, утыканный редкими огоньками сигарет, тучно валил народ — кончился киносеанс, — выплёскивался из парка под зубастую улыбку удалого ковбоя на афише в оранжевом ожерелье электрических лампочек, растворялся в улочках и переулках…

Я болтал с этой девчонкой в первый раз, смеялся, касался её руки, украдкой заглядывал в глаза, и всё было так, словно дружили мы уже тыщу лет, и есть у нас много общего. Не знаю, может, на самом деле было у нас это общее или что-то уже возникло между нами, поднятое теми силами, что заставили нас увидеть друг друга

и запомнить, только не тронул нас тот частый тяжёлый удар разочарования первой встречи, что бывает, когда находишь совсем не то, о чём мечтал и мысленно себе рисовал.

Я огорчился, когда Ларка сказала:

— Уже поздно, едем домой...

Над её калиткой большая развесистая тютина, дрожащие от дворового фонаря тени на скамейке.

— Мне нравится, как ты мотаешь на велике, — сказала Ларка.

— Чего хорошего? — поскромничал я.

— Правда, классно! Я давно заметила.

Я молчал. Наплывало неясное чувство досады, похожее на ревность к велосипеду.

— Ты что завтра делаешь? — Ларка не хотела замечать моего молчания.

— Не знаю...

Она наклонилась ко мне, обдала жарким шёпотом:

— Рванём за виноградом?

— Куда?

— Есть тут одно местечко. А?

— Давай.

— Договорились! В девять вечера на поляне. Одевайся во всё темное.

— Годится!

— А сейчас — пока! — Она исчезла в калитке…

Андрюшка сидел на лавочке и глазел в темноту — ждал меня.

— Ну как? — спросил он, едва я подъехал.

— А никак! — Хотелось подразнить Андрюшку: рано, мол, знать тебе такие вещи! — Пошли спать!

Андрюшка засопел, надулся.

Спали мы с Андрюшкой на открытой веранде — моя бабушка каждый вечер стелила нам постель. Это было очень удобно — приходить домой, когда тебе вздумается...

Делиться с Андрюшкой нашими планами я не собирался. Лучше просто сразить его той кучей винограда, которую я ему принесу.

Мы долго лежали, смотрели на звёзды из-под козырька веранды и молчали.

— Ну, всё-таки, что вы делали? — не выдержал Андрюшка.

— Катались по улицам.

— И всё-ё?.. — недоверчиво и совсем разочарованно протянул он.

— И всё...

Мне нравилось создавать видимость тайны многозначительными недомолвками.

— Ну ладно, — буркнул Андрюшка и отвернулся. — Как знакомить, так — я, а как рассказать другу, так сплошные выделки…

— Много будешь знать, скоро состаришься, — пошутил я и повернулся к Андрюшке спиной. Но, полежав, добавил:

— Не злись, Андрюха. Мы, правда, только катались и ни о чём ещё не говорили...

Но Андрюшка притворился спящим.

ГЛАВА ВТОРАЯ

8 апреля, *г. Кадиевка*

пятница, 17 час. 45 мин.

Здравствуй, противный мальчишка!

Почему же ты так долго не отвечаешь?

Скажешь, — времени мало, учиться надо, а не баловаться письмами. Так, да?

Ну, нет, дорогой! Я сама знаю цену времени и очень уверена, что свободных бывает от шести до десяти часов в сутки, можно успеть написать кучу писем, если, конечно, не качать тунеядца.

Сегодня у меня почему-то хорошее настроение. Причины есть. Перечислить? А у тебя будет свободное время, чтобы всё это прочитать?

1. Выпал снег. Он шёл сегодня целый день.

2. Были на мотогонках, потом ходили смотреть весенне-зимний парк. (Что-то не помню, как писать «весенне» — с одним или с двумя «н»).

3. Передавали по радио вальс Глазунова.

4. Достала книгу В. Ардаматского про шпионов.

5. Мне подарили настоящий нож.

Неприятности только две: не пошли на занятия, и меня обозвали фашисткой (за что?!)

Вот и всё. Ты знаешь, я хочу и тебе поднять настроение до моего уровня, потому высылаю листок с маленькими анекдотами. Если понравятся, могу прислать ещё. Если ты знаешь новые, пришли мне — я люблю их читать и слушать.

Пора заканчивать. А то я что-то расписалась сегодня и даже без понятия — приятно тебе это или нет.

До свидания, Лариска.

1

Виноград в городских садах ещё не созрел, и было непонятно, где она собирается его обносить. Потому, ожидая её, я чуточку сомневался.

Я сидел на поляне и смотрел в небо. Крупные, лохматые звёзды пересыпаны серебристой пылью, луны нет и, кажется, не скоро будет. Где-то стрекочет сверчок, от балки со ставком тянет тёплой сыростью.

«Это хорошо, — подумал я про луну, — легче будет пролезть незаметно...»

Чудная летняя ночь. Я чувствовал — она помогает нам. Меняя привычный мир вокруг, она напитана тихим великолепием и заманчивой таинственностью. И можно попасть куда только душа желает — в заморские страны или на чужую планету. Всего лишь чуть-чуть фантазии да капельку желания. Я ощущал чьё-то тепло, дыхание, такое незнакомое и лёгкое, слышал неясный шёпот. И мы двое в ночи — заговорщики, и ни одна душа не знает… Только я и Ларка... Что-то кралось, кралось в голове и пришло:

Лилась мелодия о ночи,
Мерцал немой оркестр звёзд.
И ветер с моря, свежий очень,
Двоим таинственность принёс…

Почему с моря — не знаю, рядом был только пруд. Море — красивее, да и какая разница, что рядом, если я был готов, я жаждал, чувствовал красоту этой ночи?! Только почему же так долго нет Ларки?

Совсем тихо на поляне. Я потихоньку начал скучать, и мысли мои о предстоящем приключении стали бледнеть, уступая место сомнениям. И вдруг из темноты вынырнула Ларка.

— Привет! — Она села на лавочку.

— Чего опаздываешь? — Моё недовольство было похоже на прямое бревно.

— Мне можно.

— Чего-й-то ради тебе можно?

— Ты не джентльмен.

— Х-ху, а я им никогда и не был.

Я прекрасно знал, кто такие джентльмены. Хотя бы по романам Жюля Верна. Честные и благородные дяди в цилиндрах и с тростями, почти всегда — с усами и бородой, и в основном пожилого возраста, то есть — за тридцать лет. Я представлял их манеру выражаться, их сверхнудную культуру и ужасную порядочность в поступках, но никогда не думал, что всё это можно прицепить ко мне.

— Это плохо.

— Что плохо?

— Я тебя очень прошу, когда ты со мной, будь, пожалуйста, чуточку джентльменом, ладно?

— Ладно... — тоскливо пообещал я, чувствуя на голове цилиндр.

Ларка была в кедах и чёрном спортивном костюме. Живая фигурка из куска эбонита! Будто какой искусник выточил её, сгорая от вдохновения! Я глазел на неё и чувствовал: мне нравятся овалы и изгибы этой фигурки, нравятся тем, что не похожа она на поленистые фигуры мальчишек. И как же можно было раньше всё это принимать за недостатки?

— Едем, — Ларка поднялась с лавочки, — надо спешить...

Мы мчались по тёмным улицам, и лёгкий ночной ветерок летел вместе с нами. Наугад выбирая дорогу, перескакивали через ухабы и мелкие ямки, снова прибавляли хода, едва чувствовали под колёсами ровный, мягкий шелест пыли.

Скрытые теменью садов, мимо неслись ночные дворы. Кое-где над порогами домов горели лампочки да светились окна голубоватым огнём редких ещё телевизоров.

— Налево! — кричала Ларка. — Направо!

Я послушно сворачивал в очередной переулок и скоро уже плохо представлял, где мы находимся.

Наконец, широкая улица в серых буграх травы. По середине — редкая шеренга столбов с тусклыми фонарями, меж столбов вьются два пыльных следа накатанной машинами дороги.

У большого анкерного столба Ларка толкнула меня в спину:

— Стой!

Я резко придавил тормоз, Ларка спрыгнула с багажника.

— Спрячь велик, дальше — пешком.

Велосипед канул в высокой траве.

Мы пересекли улицу. Меж двух усадеб за глухими дощатыми заборами проступил узкий проход в темноту.

Ларка скользнула в проход, я — за ней. Впереди смутный её силуэт, да чуть слышны шаги. Она шла в темноте легко и уверенно, точно ходила здесь не раз. Знает всё-таки место. Я старался не отставать.

Мы шли и шли, а заборы всё тянулись. Тропка полого стелилась вниз, и мы почти бежали.

Заросли каких-то деревьев и заборы вдруг повернули, разошлись в разные стороны. И сразу словно бы сгустилась таинственность, обняла крепко и страстно, до замирания сердца.

Ларка остановилась.

— Тс-с... — приложила она палец к губам. — Будь здесь, я пока разведаю...

Я хотел было возразить, сказать, что негоже мне ждать, я же парень и должен быть впереди, то есть — разведчиком, но она отодвинула в одном из заборов какую-то доску и пропала...

От нечего делать я пытался рассматривать заборы. Здесь они были не такие высокие и глухие, как на улице, словно тем, кто их строил, не хватало досок и им приходилось всё больше растягивать их на всю длину заборов.

Ниже, в балке, заливался лягушачий хор. Видно, там был пруд, или, по-местному, — ставок. Таких ставков — больших и малых — в Новошахтинске тьма. Нет в городе ни реки, ни озера, потому издавна перегораживались, брались греблями все мало-мальски пригодные балки, способные собрать хоть немного воды...

Доска в заборе сдвинулась, Ларкин голос позвал:

— Иди сюда...

Я пролез в дыру и совсем потерял ориентировку. Какие-то колючие заросли вокруг, ничего не видно даже перед носом. Почувствовал прикосновение её руки, услышал тихий Ларкин шепот:

— Давай за мной... На четвереньках...

Я полз за ней, по шороху и треску сушняка угадывая направление. По запаху листьев и колючим стеблям догадался: ползём мы через малинник, и мне казалось, что пара медведей ломится сквозь лесные завалы. Я был почти уверен, хозяин слышит нас, и на всякий случай спешно обдумывал план спасения Ларки и собственного достойного отступления. Я уже ясно представлял, как выручу её при нападении злых владельцев сада, но Ларка уверенно шуршала впереди, и мне пока что приходилось только поспевать за ней.

Ткнулся головой в её ноги. Ларка стояла в полный рост. Малинник кончился.

— Всё, — прошептала она, — здесь, рядом...

Встал. Впереди виднелся свет, изрезанный, рассеченный кустами, ветками деревьев. Во дворе, возле дома, горела лампа, изредка она бросала в нас суетливые тени — там ходили люди.

Ещё несколько шагов, и перед нами — ряды подвязанного винограда. На ощупь стали находить и срывать крупные кисти.

— Погоди, — прошептала Ларка. — Куда же собирать виноград? У тебя есть что-нибудь?

— Нет...

— А-а, ладно... — Она быстро стащила с себя майку от спортивного костюма, связала рукавами вырез для головы. Получилось что-то вроде сумки.

В темноте забелел её лифчик, неясным пятном обозначив девичью грудь, и у меня сильно заколотилось сердце, что-то непонятное подкатилось к горлу.

— Отвернись! — всё же почувствовала мою дрожь Ларка.

— Я ничего не вижу, темно ведь...

— Ну ладно... Только не сильно разглядывай.

— Да, правда, не видно ничего... — Я старательно прятал волнение, но шептал доверительно, был уверен: что-то интимное между нами уже произошло.

Да, конечно! Стала бы она снимать майку при постороннем! Да ни за что на свете! Я чувствовал себя близким ей человеком, и мне очень нравилось это чувство.

В то время я ещё не придавал значения извилинам человеческого характера и поступки людей определял весьма просто: это хорошо, а это плохо, это должно быть таким, а вот это — нет. И никогда не искал причин. Я ещё не знал, как трудно определить поступки, как часто люди действуют вопреки собственным желаниям и пониманию окружающих.

— Всё, смываемся... — вернула меня в сад Ларка.

Мы двинули обратно. Я тащил майку с виноградом, она шла сзади, шёпотом подсказывала направление. Через минуту мы были уже по ту сторону забора.

Ларка вытряхнула виноград в траву, быстро оделась.

— Подожди здесь, я сейчас...

Она пошла вверх по проулку и моментально растворилась в темноте. Куда это она? Или потребовалось куда? Ну что ж, мне опять оставалось только терпеливо ждать...

Попробовал виноград. Кисло-сладкий и почти спелый. Ничего! Классное местечко! Ну, даёт Ларка — спец по винограду! Обносит сады! И от дома — ого сколько! Надо спросить...

Из-за облака вывалилась луна, облила бледным светом верхушки заборов, деревья, траву в балке, бросила резкие тени на землю. Тишина, казалось, заткнула даже лягушек в ставке.

В проулке что-то звякнуло. Я насторожился, на всякий случай втиснулся спиной в тень забора. Звякнуло громче, потом ещё и ещё, и Ларкин голос позвал:

— Володь, ты где-е?..

— Здесь... — отклеился я от забора.

— Вот, достала. — В её руке снова звякнуло небольшое оцинкованное ведро. — На, собери виноград.

— Где взяла?

— Так, заняла. Давай, грузи...

Я собрал виноград, и мы двинулись вверх по проулку.

На улице также пустынно и тихо. Отыскали велосипед, по сонным улицам погнали домой. Я крутил педали, Ларка сидела на багажнике с нашей добычей в руке...

2

Потом мы ели виноград на скамейке у её дома.

— Ты часто обносишь сады?

— Нет... Сегодня в первый раз. Знаешь, очень хотелось, ну хоть разок, да не с кем было. Девчонки боятся, пацанов таких нет, с кем бы я могла...

— Откуда ты знаешь это место?

— Да так, знаю.

— Но всё же?

— Ты недоволен?

— Доволен... — вздохнул я. Ох уж мне эти секреты!

— Там... там живёт моя бабуля, — тихо сказала она. — Это её сад...

— Ты же могла днём — сколько угодно!

— Могла... Но это же неинтересно, правда, ведь? Нужно, чтобы никто не заметил, чтобы почувствовать, как это...

— Ты почувствовала?

— Не знаю...

Я понял, что могу всё испортить, и замолчал. Мы посидели ещё. Виноград уже отдавал кислятиной, наверное, мы набили оскомину. Ларка подвинула ведёрко ко мне:

— Отвези Андрюшке.

— Хорошо...

Смутно чувствуя за собой какое-то право, но долго и мучительно готовясь, я, наконец, собрался с духом, положил ей руку па плечо, слегка обнял, прижал к себе.

Ларка руки не сбросила, не возмутилась, но ко мне не подалась, сказала только тихо-тихо, как-то даже вяло, словно нехотя напомнила мне о скуке такого продолжения нашего вечера:

— Не надо, Володя, не стоит...

Я точно обжёг руку. Давился досадой и молчал, чувствуя каменную неприступность её слов. Это же очень плохо так, когда почти уверен, что можешь, что нужно, и делаешь шаг, и вдруг натыкаешься на сжатую пружину отчуждения, которая отшвыривает тебя назад, делает маленьким и жалким прямо на глазах у неё — Ларки, которая тоже должна была хотеть этого, но почему-то не захотела. Тогда и стыдно, и досадно, словно среди бела дня не рассмотрел фонарный столб посреди широкой улицы и наварил себе шишку на лбу.

И долго ещё я буду помнить эти её слова, ощущать их тяжесть, прежде чем на что-то решиться...

— Куда завтра? — спросила Ларка. — Идём в кино. В «Спартак».

— На сколько?

— На восемь.

— А что крутят?

— Без разницы...

— Договорились.

— А сейчас до свидания. Пора уже. — Она взяла мою руку своими двумя, как-то невесомо провела по ней пальцами и добавила:

— Не огорчайся, Володя, не надо... Всё будет, если должно быть...

Андрюшка недоверчиво посмотрел на виноград, спросил:

— Где взял?

— Тебе не всё равно? Ешь...

Двумя пальцами, очень осторожно, точно маленькую зелёную гранатку, взял одну ягодку, положил в рот, придавил зубами и сморщился, сплюнул.

— Фу, гадость! Горькучая кислятина! Надрали зелени...

Почему «надрали»? Или знает, что мы с Ларкой? Но всё же очень некультурный парень этот Андрюшка! И есть не стал, облаял, куда уж там «спасибо» дождаться?..

3

В то лето мы встречались каждый день.

Убегали в кино, и притихшие её подружки — Вера с Наташей — долго смотрели нам вслед. Мы не хотели брать с собой в парк Андрюшку, и он обижался, отчего на его лице чётче проступали мелкие веснушки. Жаркими днями мотались на ставок купаться, а вечерами часто просто сидели на поляне, болтали, глядя в бездонное кружево звёзд.

Было время первых космических полётов, и тема космоса не сходила с языков. Часто и мы втравлялись в неё, выискивали глазами летящие спутники и, если нам это удавалось, радовались и даже спорили, кто раньше заметил. Мы перебирали созвездия и планеты, которые знали и которые не знали, находили их на небе и были уверены, что не можем ошибиться. Небо просыпалось на нас серебряным дождём, висело, натянутое на островерхие новошахтинские тополя, — мы смотрели в него и забывали обо всём на свете.

— Володь, ты бы смог вот так, как Гагарин?

— Не знаю...

— А я, наверно, смогла бы...

Я был уверен — она смогла бы!

Узнавая её, я чувствовал, как тянет меня к ней всё больше и больше, хотя объяснить свои чувства точно я вряд ли смог бы.

Просто мне было хорошо с ней, нравилось всё, чем бы мы ни занимались, где бы ни бывали, без неё я быстро начинал скучать. Запоминались фильмы, книги, музыка — всё, через что мы проходили вместе или хотя бы касались в разговоре. Мне так же очень хотелось обнять её, поцеловать, но теперь я старательно делал вид, что всё это мне «до лампочки», и пусть оно будет само, если когда-нибудь должно было быть.

Андрюшку я совсем забросил. Однажды он протяжно вздохнул и высказал мне:

— Ты, Вовка, заелся капитально! Как снюхался с Ларкой, так стал такой, прям куды ж там — на телеге не подъедешь, и старые корешки тебе побоку! И чё я вас свёл? Только себе на отрубку...

Андрюшка не собирался менять своих привычек, появись хоть тысяча Ларок.

Ну чего там может быть интересного с ними, ну день, два, и хватит — надоест же хуже горькой редьки...

— Чего психуешь? Никаких корешков я не — побоку! Зачем плетёшь? — навалился я на Андрюшку, а сам подумал: «Прав же он всё-таки, словно от себя оторвал, нельзя так, наверно», — и тут же пообещал себе: «А что? Гулять теперь будем втроём, помешает он, что ли?» — Но в первый же вечер о своём обещании забыл...

4

Во второй половине августа мне пришлось неожиданно уехать домой.

Последний вечер. Ещё не зная, что он последний, мы долго сидели на лавочке возле её дома. Из калитки вышла её мама. Она пристально рассмотрела меня, готового испариться, в отблесках дворового фонаря, тихо сказала:

— Лариса, уже поздно. Иди домой.

Через минуту Лариса ушла, а я под впечатлением этой неожиданной встречи побрёл к Андрюшке спать. Нет, мир не перевернулся, и клёны стояли зелёные, только почему-то немножко взмокла спина. Но кто же знал, что это всё так трудно — поменяй она только одно своё слово, укажи на причину моего присутствия рядом с этой девчонкой, и всё вокруг разом переменится, взгляды станут тяжёлыми, плотными, — не пробить их, не осилить...

Рано утром неожиданно прибыли мои родители и объявили: звонили из техникума, нашу весёлую группу до начала занятий опять посылают в колхоз, и быть уже завтра к восьми утра.

Новость оглушила меня. Я выскочил на улицу — нужно было увидеть Ларку.

Часа два я бродил мимо её двора, заглядывал через забор, но не встретил никого, даже её сестренки. Словно уехали куда всей семьёй! Попробовать зайти во двор и позвать? Да, точно — нет дома: давно бы увидела меня и выскочила бы на улицу. Но всё же? Нет, не решился — на меня всё время смотрели внимательные и строгие глаза её матери. Но надо же что-то придумать!..

И я пошёл к Андрюшке.

Он помогал сестре копать картошку на их маленьком огороде. Я тихо свистнул, поманил его в сторону.

— Андрюха, слышь? Я уезжаю.

— Уже?

— Нет, в два часа.

— Ну тогда чё прибежал? Ещё куча времени...

— Сходи, позови Ларку.

— Ну, нет, отвали! Сходи сам.

— Мне неудобно. А тебе что? Позвал, и всё.

— Не-е, я её отца десятой дорогой обхожу.

— Ты же не к нему пойдёшь?

— А на него напорюсь, да?

У Андрюшки всегда так: упрётся, и хоть ты тресни!

— Тьфу ты! — Меня переполняло возмущение. — Отца испугался! Не думал я, что у тебя душонка, как у зайца!

— Ничего у меня не как у зайца, — спокойно возразил Андрюшка. — Просто я не хочу иметь лишних неприятностей. Ты вот смелый, а сам того — на меня валишь.

— Я же тебе долблю: мне неудобно!

— Да они о тебе без понятия.

— Ещё хуже — начнут примеряться: кто да что?

— Езжай завтра, чё дергаться?

— Не могу. Мои явились, гонят. Ты что, не секёшь, почему я её ищу?

— Секу. Совсем вывихнулся...

Мы помолчали. Я — выжидающе, Андрюшка — что-то обдумывая.

— Да-а, — наконец протянул он. — Спешка, как при ловле блох. Ну, ничё, ты езжай. Я ей всё растолкую. Скажу, ты не знал и не мог...

— Эх ты, ещё друг! — Я повернулся, пошёл с огорода.

— Постой, Вовка! — догнал меня Андрюшка. — Ну, пойми, не могу я! Было одно дело. Я там, как касторка, или ещё хуже. Всё равно у меня ничего не выйдет.

— А ты попробуй.

— Без пользы. Да ты и рта не раскроешь, как её загонят домой. Из-за меня.

— Всего два слова. Мне надо, чтобы она знала, почему я уехал.

— Я ей всё расскажу, а тебе напишу.

— Я должен сам.

— Какая разница? Я всё сбацаю не хуже. Будь спок: всё будет в ажуре. Сейчас умываюсь и бегу тебя провожать...

Он уже тарахтел. Я понял, что ничего не добьюсь, и пошёл со двора.

Условности, обязанности, родители! Сплошные цепи! Подкатил опасный возраст, когда дружить мальчишке с девчонкой становится вдруг рано, хотя до этого они дружили, может быть, лет десять. Но что с того? И всё неожиданно окутывается налётом тайны, и каждый смотрит на эту тайну по-своему: кто хорошо, кто плохо, и как знать, кто из них прав?

Я уехал, увёз свою вину перед Ларкой.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

21 октября *г. Кадиевка*

Володь, здравствуй!

В твоём письме уйма вопросов, но я постараюсь ответить на все, если, конечно, сумею. Итак, начали!

Живу я с Наткой уже почти два года. Можно считать ещё и нашу тётю Варю (она тридцатого года). Живём дружно, никого не притесняем, и нам платят тем же. В общем, дышим, как хотим, особо не считаясь с интересами всех домочадцев, да и самой хозяйки, взамен от них получаем то же самое.

Тебе первому спешу сообщить новость, которую только что принесла Натка: в середине ноября мы едем на практику и не только по нашей области, как раньше категорично было заявлено дирекцией училища, а — и куда хочешь, но только по вызову, который можно добыть. Так вот, я думаю поехать домой или к Натке, точно ещё не решила.

Так что, если собираешься ко мне, торопись, — я могу уехать.

Ты интересуешься, как я к тебе отношусь. Да, как? Ну что ж, попробую ответить, хотя сделать это мне сейчас очень трудно — толком над этим я до сих пор не задумывалась.

Ещё тогда, в Новошахтинске, мне нравилось, что ты много знаешь, и тебе известны такие вещи, на которые я до тебя просто не обращала внимания. Ты чем-то действовал на мою «бешеную» душу, при тебе я совсем мало болтала, вела себя тихо и смирно. Да тебе, наверное, и сейчас кажется, что я тихая и спокойная. Но если бы я тебя лучше знала и чаще видела, я могла бы рассказать кое-что о своей жизни, да я не...

А ну их к черту, все эти существительные и глаголы! Одним словом, ты мне сильно нравился, и всё... Это не мешало мне дружить с другими мальчишками, но помнить о тебе.

Да, я забыла самое главное, что меня особенно поражало и вызывало досадное любопытство: ты был всегда сдержан, словно постоянно обдумывал: да или нет? Это тоже заставляло думать о тебе раньше, вынуждает не забывать и сейчас.

Больше я ничего не могу прибавить, вернее, не могу точнее выразиться, сказать так, чтобы ты всё правильно понял да и сама я не ошиблась.

Надеюсь, своё отношение ко мне ты опишешь более точно.

Город наш средний, конечно, не сравнить с Ростовом, но жить здесь можно, да и развлекаться тоже — были бы желание и деньги.

Кинотеатры, клубы, дома культуры, танцы, кафе, рестораны — всё на уровне, но можно просто бродить по ночным улицам, дышать осенней свежестью, смотреть на мокрые цветные огни. Что и делаем мы очень часто, да к тому же и с любовью.

Лариса.

1

Письмо от Андрюшки пришло только под Новый год.

Он писал о своих пацанячьих делах и только в конце накарябал несколько слов о Ларке. Она, мол, просила у него мой адрес, и теперь он интересуется: давать или нет — он боится подсунуть мне «свинью», вдруг её письма прочтут мои «предки», и тогда у меня по его вине будут неприятности. Он благоразумно спрашивал моего разрешения. И больше ничего.

Я обозвал его болваном, порвал письмо. Навалилась досада. Тоже мне, умник нашёлся! Как приняла она мой отъезд, что решила? Об этом в письме ни строчки. Что мне делать? Глупо как, но всё, связь потеряна...

Быстро настрочил ответ. Я просил Андрюшку обязательно дать мой адрес Ларке, уверял, что мои «предки» не читают моих писем и не проверяют карманов, что всё будет нормально, лишь бы он чуточку помог нам. Я надеялся на него, но письма от Ларки так и не получил. Не писал больше и сам Андрюшка. Я знал, с какой неохотой он нацарапывает с десяток строк, и потому сильно не удивлялся его молчанию, но был уверен — он сделает. Только вот Ларка, что же она? Неужели так ни разу не встретилась ему на улице, не тронула разговором моё имя? Мне нужно было её письмо, любое плохое, но ясное. В чём же дело?

Я не переставал ждать письма от Ларки, только с каждым днём ожидание это почему-то слабело. Можно было написать самому? Нет, как-то не приходило в голову...

Дома текла своя жизнь, чуждая Новошахтинску. Привычная обстановка, старые, повзрослевшие друзья — они не подозревали о существовании Ларки, — новые увлечения и каждодневное открывание мира вокруг. Постепенно летние похождения в Новошахтинске отодвинулись куда-то подальше, стали бледнеть, быстро превращаясь в один из эпизодов прошедшего времени.

Только иногда внезапно слышался знакомый голос или мелькала похожая фигурка, я встряхивался, и тогда сильнее колотилось сердце, учащалось дыхание — я весь превращался во внимание. Долго искал знакомые черты, вглядывался, вслушивался, не теряя надежды, — ведь близко же Новошахтинск, рядом, всего-то сотня километров! Фигурка уходила, голос исчезал, я медленно успокаивался, снова забывал свою подружку, чтобы опять когда-нибудь натолкнуться на что-то горячее, резкое, вновь почувствовать в груди тонкую, щемящую боль...

Говорят, семнадцать лет — пора любви. И мои сверстники в ту зиму влюблялись. Кое-кто — «на всю жизнь». Приглушенно кипели страсти: составлялись и распадались пары. Предлагалась дружба, принималась или отвергалась — всё осторожно и бурно, с плохо скрытой радостью или с ехидным превосходством. И те, кто в «парах», были людьми заметными среди нашей публики, они уже знали, «что делать». А остальные искали своё. Примечались все смазливые мордашки, все стройные ножки. И мы, парни, все вдруг стали неодинаковыми, — впервые между

нами, как степень, встали слова «симпотный» или «не очень»... На какое-то время они заменили в нас многое.

У кого-то влюблённость была глубокой, «до потери пульса», у кого-то — минутной, как говорится, дал Бог чувство сильное, горячее, да недолгое, но самолюбие всегда стояло на высоте, даже там, где, казалось, и ущемлять было нечего. И кое-кто уже начинал утверждаться с помощью кулаков и надёжных друзей. И таким способом, оказалось, можно было завоевать популярность и заставить девчонку, не слишком упрямую и гордую, быть верной тебе.

Город всегда делился на районы, поселки, улицы, дворцы культуры, клубы. Нет, не только в административном порядке, город делил молодёжь по принадлежности: к району, поселку, дворцу культуры, парку. Можно было жить в одном конце города, а убивать свободное время совсем в другом, входить в «общество» дворца культуры или парка чужого района. Везде были свои, неписаные правила, обычаи, и каждый — хочешь-не хочешь! — вынужден был их придерживаться. Кто установил эти правила, кто следил за их жизнью, да и следил ли, сказать трудно, но так было принято — отступник сразу выпадал из общей массы «своих», а в результате мог иметь вполне нормальные неприятности.

И только девчонки оставались как бы вне районов, между ними. Нет, они тоже были «свои», «чужие», но это не мешало отстаивать право любого парня пойти с той, что нравится, даже если на неё уже положил глаз кто-то из местных почитателей. Делалось это по-разному и результат тоже давало разный.

Так было в городе раньше и, наверное, всегда, на эти порядки пришли мы, остаются они, видимо, и сейчас.

В старину говорили: «Выход в свет». Куда выходили мы? В свет? Или просто в жизнь? Никто не подумал подобрать название. Комсомол близоруко верил в непоколебимость заседаний и лозунгов, нами, по сути дела, не занимался, всё вокруг восхваляло подвиги молодых, а мы видели рядом совсем другие дела, это было нашей жизнью, она была для нас новой, радостной, любой шаг в ней врезался в память, потому, что значил многое.

И мы отдавались ей, как отдаются впервые: взахлеб и без оглядки. Совсем не школьная учеба в техникуме — там принималась наша взрослость. Праздничные и танцевальные вечера. Яркие афиши и цветные тени в громадных окнах Дворца культуры железнодорожников, и ночь — морозная или мокрая, в бриллиантах дождинок, — рядом с нежно пахнущей первыми духами нарядной девчонкой, сладкие поцелуи в каком-нибудь тёмном закутке и длинная, гулкая обратная дорога домой через спящий город.

Много было девчонок в ту зиму в нашем Дворце, красивых и просто симпотных, только вот не дано мне было задержаться возле какой-то из них. Что-то мешало мне...

А Ларка всё не писала и не писала, и я думал уже, не напишет никогда.

2

Наступило лето.

Сразу после экзаменов я уехал на Кавказ в спортивно-оздоровительный лагерь нашего техникума.

Место для лагеря выбирали сами. Нашли на горе небольшую поляну, поставили на ней шест с флагом и фонарём, вагончик с радиоаппаратурой, в кустах спрятали движок из кабинета электротехники для снабжения лагеря светом и музыкой, натянули палатки. Всё получилось превосходно.

С одной стороны нашей горы голубовато зеленело чудесное озеро Абрау с удивительно мягкой и чистой водой, с другой — чуть подальше — расстилало бескрайнюю, сверкающую на солнце синеву Чёрное море, и мы парили над озером и над морем

на высоте четырёхсот метров; ночью звёзды, яркие и мохнатые, густо охватывали нас со всех сторон, в зеркале озера отражались земные звёзды — огни посёлка на его противоположном берегу, — и тогда казалось: наш лагерь поднимался ещё на большую высоту, к порогу космоса, — вот они, звёзды, чужие миры, только протяни руку и коснись...

Говорят, вокруг городка Абрау-Дюрсо в горах есть километров пятьдесят винных подвалов, и в войну, когда сюда подходили немцы, вино сливали прямо в озеро, и вода в нём отдавала слабым привкусом вина. Нам не верилось, что может быть столько вина в одном месте и что с ним можно было так вот обойтись. Не западная граница всё же...

Посёлок и озеро плотно обступали зелёные вершины, и вечерами эта огромная чаша гудела нам музыкой поселковой танцплощадки — она волнами падала в озеро и, оттолкнувшись от воды, легко взбиралась к нам па поляну. Мы старались не ударить лицом в грязь, тоже врубали усилитель на полную, и тут уж — кто кого... Целыми вечерами, балдея, купались мы в урагане музыки, пряном воздухе, смехе и беззаботности. Через пару дней все знали всех, и кое-кто уже потянулся друг к другу.

Светка училась на другом отделении. Я почти не знал её раньше. Встречал как-то в гулких коридорах техникума, мельком видел на вечерах. Белесоватые, смеющиеся глаза под длинными ресницами, нос в разбеге веснушек. Обычная девчонка, каких много на любой танцплощадке.

Как всё началось, не знаю. Наверное, с танца под большим фонарём на поляне. Или с позднего вечернего купания в озере. Или ещё как-то. Только скоро уже мы сбегали ранними сумерками с нашей горы на узкую, извилистую ленту шоссе и бродили, бродили среди тёмных громад, заслонивших полнеба. Кругом было угрюмо, таинственно и жутковато тихо, только цокала цикадным звоном глухая кавказская ночь да треснет порой ветка в лесу, трепыхнет порывом ветра листва в коридоре ущелья.

Я находил светляка, вставлял его Светке в волосы, и этот зеленоватый циклопий глаз был единственным светом для нас на тёмном тоннеле дороги.

Где-то на полпути к морю поперёк изгиба дороги открывалось бездонное нутро Вариного ущелья — нагромождения отвесных стен, растительности и мрака с тихо шумевшей где-то внизу маленькой речкой. Какой-то далёкой зимой шла ночью от моря в посёлок девушка Варя, спешила, шагая по каменистой тогда дороге, по какому-то неотложному делу, — что же ещё может погнать девушку одну в такую пору? И вот здесь, в этом ущелье, преградила ей путь стая трусливых, но голодных шакалов. На другой день нашли её растерзанную рядом с дорогой. Давно это было, люди забыли, зачем она шла в посёлок и какая она была, эта девушка Варя, только намять о ней всё живёт среди местных жителей в названии ущелья, а вместе с ним — и легенда.

Страшновато было представить себя здесь одного, зимой, когда до крайнего огонька посёлка километров семь и нет надежды, что кто-то встретит тебя и поможет. Смелая, видно, была девушка...

Над ущельем проступала бледнота рассвета, и тогда мы бежали в лагерь, подгоняемые пронзительным озёрно-морским сквозняком, сырым и холодным. Постоянно влетало нам за наши поздние прогулки, но мы не желали перевоспитываться. Как, впрочем, и все остальные в лагере.

Вот тогда-то я стал догадываться и кое-что понял. Что не вся та женская красота, что сшибает, как выстрел, как удар бича, — есть ещё и другая, часто скрытая до поры до времени, не написанная на лице, фигуре красота, и можно ещё многое открыть в женщине, узнав её поближе, что мир гораздо шире Новошахтинска, как для меня, так и для Ларки...

Незаметно к нам подклеилась ещё одна пара: Лёшка и Люда. Образовалось что-то вроде «союза четырех». Так даже оказалось лучше, веселее: вместе бродить, о чём-то

спорить, есть за одним столом, купаться в море (лучше ночью, если не нагонят пограничники). Нашли мы что-то общее и, наверное, чем-то дополняли друг друга.

Мы мотались с Лёшкой в совхозный сад за яблоками для наших девчонок, но были вынюханы собаками и едва не пойманы сторожами, благо, что оба прилично бегали даже через кушири и колючки. Зато сколько было подготовки, таинственных, но предательских переливов луны над молочными вершинами гор и немого восхищения в глазах девчонок, когда они залечивали наши колотые и рваные раны зелёнкой, морщились от нашей боли, усердно дули на наши ссадины. Мы чувствовали себя мужчинами. Яблок мы принесли, правда, немного: краснобокие, крепкие кругляши, — девчонки грызли их так, словно не было на свете ничего вкуснее.

— Ну, зачем вы? — возмущенно морщила носик Света, но глаза её блестели совсем другим, словно это так, для вида только, на самом деле ей хорошо сознавать, что натерпелись мы из-за них и, если надо, натерпимся снова.

— А-а, ерунда! — отмахивался я. — Ну, прицепились со своей зелёнкой.

— Могли бы и нас позвать... — недовольно говорила Люда, старательно перекрашивая Лёшкину спину во всё тот же тёмно-изумрудный цвет. Лёшка только ёжился да крутил головой.

Могли бы, да только не было бы всего этого...

А как они болели за нас, когда мы сражались на каменистом, покрытом коровьими ляпухами и куцыми островками жёсткой травы стадионе со лбами из поселковой футбольной команды. Наша лагерная была составлена из кого ни попадя, и потому мы уверенно проиграли со счётом 2:8, но, наверное, мы с Лёшкой старались больше всех или выходило у нас лучше — сразу после игры лбы — парни рослые, сильные, как на подбор, — пригласили нас завтра же ехать в другой посёлок играть за них календарную встречу на первенство края. Это было приятно слышать, только что оно значило по сравнению с восхищёнными глазами наших девчонок, их задорным криком и аплодисментами.

Не знаю, были ли мы на самом деле парами или просто так сложилось: подружились две девчонки с двумя парнями, но нам было очень хорошо вместе, мы чувствовали это, тянулись друг к другу, и что там думали о нас остальные обитатели лагеря, нас особенно не интересовало.

Ушли те пряные кавказские ночи, растаяли, как сон, и наша четвёрка была из того сна...

В августе мы вернулись домой и расстались. Будто бы до начала занятий, хотя все понимали, что это конец — здесь, в городе, мы просто не сможем продолжить. Это был большой город, и у каждого в нём своя дорога. И, видимо, это нормально...

До первого сентября почти месяц. И снова потянуло меня к прежнему: я вспомнил о Ларке. Правда, мешали сомнения: на что надеяться мне теперь, ведь год прошёл, а это много. Ей-то, с таким характером и с такой внешностью? Ну что ж, хотя бы увидеть да перекинуться парой слов — и то дело! Если удастся, конечно...

Наплывали неясное чувство подзабытой вины, всевозможные «надо было», и я начинал понимать, что, несмотря ни на что, очень хочу видеть её и нужно мне это сейчас.

Сейчас или никогда!

— Серёга, едем в Новошахтинск, — предложил я другу.

— Чего я там забыл? — Он удивлённо поднял брови.

— Город посмотришь, ты же там не был.

— Это Париж или лучше?

— Вот и оценишь.

— Нет, на такой риск я не согласен.

— Поваляем дурака пяток дней.

— Дурака валять лучше дома — привычнее.

— Едем, а? Мне очень нужно.

— Ну, раз очень...

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

26 октября *г. Кадиевка*

Володь, ты помнишь моё прошлое письмо к тебе? Кажется, я тогда чуть-чуть покривила душой, отвечая на твои вопросы. Или нет, не совсем? Мне трудно это объяснить, и я не знаю, с чего начать. Одним словом, ругала я себя малость, что не смогла толком ответить на твои вопросы. Так только, кое-что нацарапала, постеснялась. И вдруг спохватилась: ведь это же не просто вопросы! Что, если ты мне ответишь тем же? Я не хочу этого...

Знаешь, такие письма надо писать: или-или. Или регулярно и откровенно, или бросить совсем и не морочить голову. Не пишешь — и всё легко, нормально. Потянет вдруг к ручке — и тогда всё всплывает опять, ты психуешь, что ничего не можешь: ни помочь себе, ни отказаться, но со страхом чувствуешь: волнует тебя, зовёт...

Не выходит из головы наша встреча у поезда. И ты на вокзале такой непонятный и чем-то новый, но всё же... И я такая, как прежде: любопытная и жестокая, когда хочется быть нежной. Девчонки задолбили: кто да кто? Я же им про тебя ничего не рассказывала.

Так что, не очень верь прошлому письму или отбери из него для себя только то, что тебе нравится. Если — ничего, то выброс, порви и забудь. Наверное, всё гораздо сильнее, глубже и непонятнее, чем мы с тобой думаем. Извини, я пока ничего толком не знаю и потому молчу. Всё не так просто.

Лариска.

1

Новошахтинск всё поставил на свои места. Я увидел нашу Тихую улицу и понял, что не уеду, пока не поговорю с Ларкой.

Андрюшка — мой связной и надежда — гостил у тётки в Запорожье, скоро должен был приехать, но когда точно — неизвестно. «Или ему там наскучит, или он там всем опостылеет, тогда и явится», — смеясь, сказала его мать.

Оставалось ждать случая, и я ждал. Целыми днями сидели мы с Сергеем на лавочке перед нашим домом, плевали семечки. Он удивлялся моей привязанности к лавочке, но мне не хотелось преждевременно говорить ему о Ларке, и потому я безбожно врал, лишь бы не сдвинуться с места. Должна же она когда-то пройти мимо!

Наступал вечер, и я вёл Сергея «знакомиться» с городом. Мы осматривали парк, стадион, танцплощадку, кинотеатры — места, где я надеялся встретить её. Я внимательно разглядывал каждую встречную женскую фигурку, и посторонний человек мог бы назвать меня бабником. Мы ничего не делали, никуда не ходили, мы только бродили, бродили, и я смотрел...

Через три дня Сергей заявил, что сыт по горло местными достопримечательностями, что «это всё же не Париж» и нам пора домой.

— Иначе помрём со скуки, — сказал он.

— Ещё пару дней, — попросил я.

— Ни одного...

Мы медленно шли по липовой аллее старого городского парка. Липы, громадные и тёмные, закрывали звёзды. Похрустывал песок под ногами, издали прилетал шум танцплощадки. Я уговаривал Сергея, просил, но он упёрся, и никак...

— Ты оставайся, а я завтра сматываюсь...

Меня словно ударило током. Я не понял, что произошло, и остановился, глядя

на тех, кто шёл нам навстречу. Впереди — три девчонки, за ними гурьбой валили ребята, я смотрел на одну из девчонок и начинал догадываться, что вижу Ларку. «Ну, наконец-то судьба смилостивилась надо мной!» — успел подумать я.

Кажется, она кивнула мне — заметила! Но тут же быстро отвернулась, заторопилась мимо.

Наверное, я растерялся, не знал, что делать. Бежать ли следом, остановить, задержать, объяснить или поверить самому худшему, плюнуть на всё и завтра уехать с Сергеем?

Она заметно изменилась за этот год. Стала мягче в движениях, в фигуре чётко проступала женственность.

Я стоял и смотрел ей вслед.

— Что за девчонка? — усмехнулся Сергей.

— Не знаю...

— Она кивнула тебе.

— Не заметил.

— Не трепись, я же видел. — Сергей тоже смотрел на уходящих. — Классная кадра! Из-за такой бы я остался.

Я вдруг резко, до боли, ощутил, что Ларка может нравиться не только Сергею, а ещё многим и многим парням, на которых я её оставил или кому-то уже подарил.

Спасая её хотя бы от внимания Сергея, произнес почему-то с трудом:

— Нет... она точно занята... Смотри, сколько за ней прётся! Ты же решил ехать домой.

— Уже передумал. Когда занята, толпой не шляются. Да и почему только за ней? Там есть другие кадры, и, по-моему, совсем ничего...

— Всё равно она там с кем-то.

— Ну и что? С удовольствием потреплю нервы местным пижонам. Она же знает тебя, давай догоним, потрёкаем. Попытка — не пытка!

Ну что ему ещё сказать?

— Нет!

— Что за фуфло? Я тебя не узнаю, Вова!

— Да это невозможно!

— Почему? В любви ничего невозможного нет! — пропел Сергей. Глаза его внимательно и совсем серьёзно смотрели па меня.

— Пошли. Чего стоять столбами?

Нет, пора начистоту. Хранить тайну уже бессмысленно.

— Понимаешь, не могу я сейчас. Да, мы с ней знакомы. Вроде как встречались прошлым летом. Теперь вот приехал сюда и сам не знаю, зачем. Связать порванные нити, что ли?

— Ну, я вижу, что-то неспроста ты меня маринуешь на лавке целых три дня. Зачем, шёл бы сразу к ней.

— Не получится. Это трудно...

— А тебе надо легко?

— Да нет, трудно объяснить сразу. Я думал, встречу её на улице, будто нечаянно, понимаешь, увижу, поговорю: то да сё, мол... Ну и узнаю кое-что...

— Встретил?

— Да.

— И хочешь поговорить с ней?

— Издеваешься?

— Так что же ты торчишь, как пень? Беги, догони, поговори с ней!

— Не так всё просто, Серёга. На глазах этой компашки она выкинет такое... Даже

против собственного желания. Это уж точно, она может... Тогда и я что-нибудь натворю, и всё погибнет.

— Надо рискнуть.

— Нет уж. Ею я рисковать не могу. Да и не хочу! Жаль, нет Андрюшки. Он бы помог как-нибудь. Не забыла же она совсем прошлое лето! Пришла бы хоть поссориться...

— Ну, ты раскис: то да это! Не можешь, давай я попробую.

— Да не станет она с тобой разговаривать, посмеётся только, да и надо мной за одно. Скажет, — шлёт переводчиков.

— Да мы посмотрим! Куда там — цаца!

— Ну, ты!

— Пардон. Что будем делать?

— Не знаю. Было бы поменьше народу... Надо подойти так, чтобы не было посторонних. Идём домой — теперь она обязательно пройдёт мимо.

— Ты уверен? Чего она туда попрётся?

— На все сто! Живёт рядом.

По дороге домой я всё время смотрел по сторонам, продолжал напряжённо искать Ларку. Но ни на жёлтых аллеях парка, ни под разноцветными огнями клуба, ни на тёмных улицах Новошахтинска её не было...

2

Мы сидели на лавочке возле Андрюшкиного дома, курили и усиленно таращились в темноту.

И всё-таки дотаращились!

Мы успели выкурить только по паре сигарет, как в начале улицы послышались слабые голоса, потом в жёлтом круге угловатого фонаря неясно обозначились силуэты идущих. Двое. Узнал ли я Ларку или просто почувствовал, не могу сказать, — у меня как-то разом сильнее заколотилось сердце, и я прошептал Сергею на ухо почему-то уверенно:

— Она!..

Рядом с ней, судя по росту, белой рубашке и огоньку папиросы в зубах, шёл провожатый. Ларка что-то говорила ему, быстро, даже резко и, кажется, с той весёлостью, которая старательно подчеркивается упрямыми девчонками, когда им совсем не весело или даже обидно. Провожатый помалкивал, тянул папиросу.

Что-то тесное и душное шевельнулось в моей душе к этому парню. С трудом подавил я неприятное чувство, сказал Сергею почти легко:

— Сейчас она уйдет, и всё... Задержи хахаля (ну не мог я назвать его тогда иначе!), а я попробую...

Вот они уже поравнялись с нами, и Ларка притихла, узнала, наверное. Или место здесь было такое, где нужно чувствовать и помнить? И узнавать...

Сергей поднялся, попросил прикурить. Они как-то нерешительно приостановились — именно так: вроде бы и стояли, и в то же время двигались. Или мне так мерещилось? Парень протянул Сергею спички, тот не спеша прикурил, потом пристально рассмотрел Ларку и вдруг влез:

—А-а, это ты, Лара! Извини, сразу не узнал. Где же ты так долго ходишь по ночам? Вовка совсем умаялся, разыскивая тебя. Теперь вот сидит, переживает... — Он ломал, путал, портил все мои планы, но я не смел вмешиваться. — Нельзя так, Ларочка, — устало-назидательным тоном внушал Сергей, — как вымотались мы в тревоге, выбегались в поисках — нельзя. Особенно с людьми близкими и дорогими...

Ларка резко повернулась, пошла по улице, а парень, кажется, здорово удивился, спросил:

— Что за мутота? Какой ещё Вовка?

— Не знаешь? Братик Вовка... — язвил Сергей.

— Какой ещё братик?

— Самый родной. И вот из-за тебя, такого несознательного, столько неприятностей. Так поздно, ночь, можно сказать, давно на дворе, а ты прилип, не пускаешь девчонку домой! Издеваешься, да? — навалился Сергей на парня.

— Знаешь, что? Кончай воду лить, кореш! — грубо оборвал его тот. — Откуда взялся брат? — Ему, наверное, очень хотелось это знать.

— Такой большой и даже этого не знаешь? — Голос Сергея стал печальным. — Ай-я-яй! Чему тебя в школе учили? Под лопушком нашли...

— И давно? — не унимался парень.

— Не-дав-но, — протянул Сергей. — Недавно. Смотря по чему мерить время...

— Надоел ты мне, Емеля! — обиделся парень. — С детства живу рядом и никакого брата не видел...

— Неужели с пелёнок близорукий?

Силуэт Ларки растаял в темноте, и я помчался следом.

— Стой! Чего тебе от неё надо?! — Парень ломанулся за мной.

Ларка остановилась. Мы подлетели почти одновременно, и она как-то скучно сказала:

— Ну, чего?..

— Лариса! — вырвалось у меня. Я глянул на её спутника, тот готов был броситься на меня с кулаками.

— Иди, Миша, домой, — остановила его Ларка. — Я сейчас тоже пойду...

— Как же так? — растерялся Миша. — Ты что, с ним останешься?

— Иди, Миша, я недолго...

— Я тебя подожду.

— Прошу тебя: иди!

— Я у твоего двора...

— Как хочешь...

Миша, кажется, обиделся всерьёз. Наверное, он глянул на меня с ненавистью, если б можно было рассмотреть его взгляд в темноте, медленно побрёл по улице и скоро исчез. Мы остались одни. В сомкнутых кронах ясеней прятались звёзды.

— Ну, здравствуй! — прошептал я.

— Здравствуй...

Я не знал, что говорить дальше. Обилие слов, приготовленных на Андрюшкиной лавочке, куда-то улетучилось. С чего начать? Ну, хотя бы так, что ли:

— Была в парке?

— Ты же видел...

— Заметила меня? — Мне очень нужно было сейчас в это поверить.

— Да.

— И всё?

— А что ещё?

О! Хоть какой, но уже вопрос! Но что ответить?

— Я думал, ты остановишься...

Ларка промолчала. Мне показалось, она усмехнулась.

— Это плохо, что я приехал?

— Не знаю...

— Не хочешь со мной разговаривать...

— Я же разговариваю... — Тон её был безучастным, и я не понимал его: она словно выдавливала из себя ответы, но не уходила и не пыталась оборвать разговор.

— Ты обиделась на меня?

— Нет.

— Знаю, обиделась.

— Уже поздно, — сказала она, и я не понял, что именно.

— Давай встретимся! Завтра! Давай, слышишь? Я приехал только из-за тебя, пойми! — Я не мог, не хотел сознавать, что наше прошлое лето навсегда уплывает от нас, превращается в сказку, которая когда-нибудь покажется нам чужой.

— Не знаю. Не могу знать. — Она отвернулась.

— Почему же, Лариса? Скажи хотя бы, почему?

— Хорошо, я попробую... Я встречаюсь с Мишей. Второй месяц. Я не хочу его обманывать.

— Он тебе нравится? — Я чувствовал себя просителем, жалким и маленьким.

— Да...

— Сильно?

— Какое это имеет значение?

— Для меня — большое.

Она молчала. Я принял это за ответ в свою пользу.

— Вот видишь, не знаешь точно! — Кажется, я уже злорадствовал.

— Знаю, — сказала Ларка твёрдо. — Знаю точно!

Теперь молчал я. Закурил, сломав две спички. Всё получалось совсем не так, как думалось мне. Этого Мишу я до сих пор не принимал в расчёт. Подумаешь, хмырь! Оторвал девчонку по случаю! А оно вон как — Миша! В общем, выползало худшее, а лучшее куда-то пряталось.

Потом появилась злость. На себя, на неё, на весь мир! Ну почему я должен уступать её какому-то Мише?! Он и раньше торчал под боком, но не встречалась же она с ним! Чего ради он подписался? И почему всё должно перемениться? Да пусть он кашляет...

— Лар, ну давай поговорим нормально! Не стоит выставлять обиды. Раньше мы умели разговаривать, понимали друг друга. — Я пытался смотреть ей в глаза, и, кажется, темнота мне не мешала.

— Вспомнил, «раньше»...

— Я его не забывал.

— Что было раньше, никогда не бывает позже. Закон природы! Извини, мне надо идти.

— Когда мы встретимся?

— Не знаю.

— Я прошу тебя. Нам надо поговорить. Мы не должны стать друг другу плохими. Даже в мыслях, в памяти...

— Мне надо подумать.

— О чём думать, Лар?

— Дай мне два дня.

— Послезавтра?

— Да.

Внезапно я понял — она тоже хочет этого! Луч надежды вспыхнул вновь.

— На поляне? На старом месте? — Мне нужно было напомнить ей о нём!

— Я приду.

— В восемь вечера.

— Хорошо.

— Я провожу тебя.

— Нет. Я сама. До свидания.

— До свиданья, Ларчонок...

Она повернулась, быстро пошла по улице. Кругом тихо и совсем безлюдно, только

чуть шевелил ветер листву ясеней, да там, вдали, то вспыхивал, то гас маленький красный огонёк папиросы.

Я побрёл домой.

3

Сергей сидел на лавочке с транзистором в руках. Мирей Матье пела «Прощай, ночь!» Я сел рядом, и мы молча дослушали песню.

— Чудо-девочка! — сказал Сергей. — Слышь, Вовчик? Она любит тебя...

— Вытри губы...

— Голову даю...

— Пошли спать.

— Постой, ещё «Парижские мосты»...

ГЛАВА ПЯТАЯ

20 декабря *г. Кадиевка*

Володя, здравствуй!

Получила твоё письмо и долго думала над ним. Не то, чтобы я чего-то не поняла или чем-то оно задело меня, нет. Просто я почувствовала, как соскучилась по дому, Новошахтинску... и по тебе.

Живём здесь неплохо, даже весело, девчонки хорошие, я привыкла, и домой совсем не хочется — не думаешь об этом. Вдруг получишь такой клочок бумаги — маленький, белый, безликий и холодный с виду — подержишь его в руках, подышишь на него и почувствуешь: он тёплый, живой, тянет он тебя опять к старому, и было оно не таким уж скверным, а сейчас тебе его чуточку не хватает.

Наплывает какая-то дурная сентиментальность, а я её не терплю, всегда гоню прочь — не дай Бог увидит кто раскисшей! — но где-то в глубине души что-то сладко ломит, и хочется немного задержаться, попить этого чувства.

Да ну его! Не стоит унывать! На Новый год должна быть дома. Правда, когда приезжаешь домой, старое почему-то не возвращается.

Ты только не думай, что я тут преподнесла тебе этакую меланхолию ветерана, который живёт миражами воспоминаний. Нет! Ни в коем случае! Это только так, совсем чуть-чуть. Всего лишь маленькая слабость, рождённая сиюминутной обстановкой и твоим письмом. А в остальном мы бойко скачем вперёд и только вперёд...

Володь, слышишь? Если я дам телеграмму, ты приедешь в Новошахтинск на Новый год? Я очень надеюсь. Понимаешь, просто хочу тебя видеть, слышать твой голос, узнать, чем живёшь...

Как летит время! Совсем недавно удрала из Новошахтинска, и вот училище почти позади. В начале лета будет отпуск. Так что, не знаю, откуда придётся писать тебе, но только не из Кадиевки.

Пока всё. Лариска.

1

Утром уехал Сергей, а к вечеру прибыл Андрюшка.

Увидев меня в Новошахтинске, Андрюшка удивился, спросил прямо:

— Ты чё припёрся? Время вроде неподходящее...

— Припёрся и всё! Тебя проведать.

— Я ничё, в норме.

— Ты, говорят, теперь здесь знаменитость. Фигура на танцплощадке!

— Было дело.

— Ты ходишь танцевать?

— Танцевать мне не с кем. Там одни лбы. А больше — лбихи. Просто пошёл раз позырить, другой, ну познакомился кое с кем. Потом стали приставать: «Андрюха, скажи Таньке… передай Маньке…», — будто сами не могут уладить своих любовных дел. Ну а мне это раз плюнуть — у меня язык в зубах не застряёт. И всё с понтом! Все привыкли, и я привык. Вроде как своим там стал. Девки конфетками подкармливают, в щёчку целуют, а мужики — только тронь кто меня! Почёт и уважение.

— Во даёшь!

— А, ерунда! Успевай только бегать да помаду со щёк сдирать...

— Слышь, как там Ларка?

— Без понятия. Давненько её не видел. Слышал, вроде она с Мишкой Бурковым гуляла. Точно не знаю.

— Ты давал ей мой адрес?

— Зимой, чё ли? — наморщил лоб Андрюшка. — Давал.

— Почему она не написала?

— А я знаю?

— Мог бы спросить — я же тебе писал.

— Зимой я её не видел. Учимся мы в разных сменах. Я после школы уроки быстренько сбацаю и на стадион в хоккей гонять, а там — допоздна. Не пойдёт же она на хоккей!

— Так ни разу и не видел? — не поверил я.

— Может, где и встречал, да забывал спросить.

— Забывал! Друг называется!

— Слушай, это же ты с ней ходил, не я! Сам смылся, а я должен её охранять? Я, как обещал, так и сделал: объяснил ей, почему ты смотался, ты написал дать адрес — я дал. Чё ещё?

Да, что ещё? Он был прав, как чугунная тумба, и я промолчал.

— Уже видел её? — поинтересовался Андрюшка.

— Видел.

— Ну, вот бы и спросил.

— Не могу.

— Что, Мишка путается?

— Путается, но...

— Чё но? Да это мы запросто! Я завтра Вите Футику скажу, он его в две секунды отошьёт.

— Да не в том дело. Изменилась она как-то...

— Все мы меняемся, — рассудительно сказал Андрюшка. — Лет-то нам становится больше. Но, честно говоря, я думал, вы переписываетесь, раз она взяла адрес, и потому сильно не старался спрашивать. А сама она ко мне не подходила. Потом где-то слышал, будто она с Мишкой Бурковым связалась, ещё подумал: чёй-то она вдруг? Ну, теперь всё понятно.

— Что тебе понятно?

— Да ты чухался, а ей, наверно, Мишка помешал — сколько времени прошло?

— Ну, ты у нас понятливый...

— А как же! Чё ты вон целое лето не приезжал?

— Ладно, мои дела. Спать придёшь на веранду?

— Приду.

— Ну, я похилял футбол смотреть по ящику.

— Кто гоняет?

— Наши со «Спартаком».

— Продуют...

— Но ты, короче!..

2

А на следующий день часов в десять утра я встретил у магазина этого самого Мишку Буркова. С двумя корешами, он загородил дорогу полуохватом, смотрел самоуверенно и насмешливо.

— Здорово, коряга!

— Здорово, пенёк!

Он хохотнул, великодушно принимая ответную любезность, потом смерил меня якобы удивлённым взглядом, спросил, словно не веря:

— Так это ты к Ларке клеишься?

— Ну?

— Да я тебя одним пальцем!..

Я узнал его. Вернее, вспомнил: видел я его когда-то, встречались мы ещё пацанами. Может быть, на футбольном поле, или в клубе, или на поляне. Но давненько это было. Он тогда умел шевелить ушами и громко глотать воздух, это принималось всеми за несомненное достоинство. Мелким был пацаном, а теперь вымахал, детина. Наверное, и он меня помнил, раз подошёл так уверенно. Или кто навёл? Всё может быть. Его корешков я тоже припоминал: два брата-татарина, Равиль и Шамиль, — о драках с их участием только и было разговоров в округе. Они всегда вдвоём, привыкли брать нахрапом и очень любили выставляться тем, что «дома сидят» ещё два брата постарше, которые кидаются за них в драку, не разбираясь. Впрочем, это так и было. Но и они меня должны знать. Хотя, что с этого? Это им вполне до фени...

— Чего ты сюда припёрся? — Это опять Мишка, уже зло.

— Надо, и припёрся.

— Смотри, друг, я хочь и терпеливый, но пока добром предупреждаю: Ларка занята, запомни это! — Братья тем временем, как бы от скуки, сжимали и разжимали — демонстрировали — кулаки, пожёвывали папироски. — И ты лучше — того, билетик в зубы и чухай до дому, пока дают возможность. Таких гастролёров у нас своих: во! — Мишка стукнул себя по горлу ребром ладони. — Так что, смотри в оба!

— Смотрю...

— Она моя девчонка!

Он был уверен. Вот болван! Сколько таких уже пролетело со своей уверенностью в женщинах! Неужели не дрогнуло сердце, ни на миг не засомневалась душа? Ведь осталась же с другим среди ночи, а его попросила уйти. И всё это просто так, да? Или он из тех женихов, что привыкли к успеху без конца, что уверены — кулаками любое дело поправишь? А по виду не скажешь. Но сам-то ты откуда взялся, гад?

— Так вот, запомни...

— Я всё понял, — перебил я его и пошёл между ним и братом.

Шёл и чувствовал: стоят, смотрят мне вслед. Наверное, братья были разочарованы. Но мне-то что до этого?

3

Два трудных дня прошли.

Проползли, терзая мыслями о нашем, таком нелегком разговоре с Ларкой. Я сомневался и нетерпеливо ждал его продолжения, и в этом ожидании было что-то от сидения на горячей печке.

Я очень рано пришёл на поляну, посмотрел на всё те же, перечеркнутые двумя белесыми нитками следов машины, заросли спорыша, на белые и рябые пятна кур, копошившихся у заборов, на старую отполированную штанами и юбками, чуток покосившуюся теперь, лавочку, и сердце моё сжалось — мне подумалось: она придёт и ничего не скажет, и глупо надеяться, что наше, уже однажды бывшее, вернётся

и из него получится ещё что-то. И тогда я почему-то почувствовал себя маленькой лодкой, щепочкой, которую несёт могучая волна времени, и пока не видно берега, к которому её может вынести...

Между тем, на поляне шла жаркая футбольная битва между двумя уличными командами, и шум стоял такой, точно решалась участь кубка Европы.

От нечего делать я понемногу стал следить за игрой. Мне нравились «голые» — раздетые по пояс игроки. По неписаным уличным законам это значило, что в предыдущей встрече этих же команд они проиграли. «Голые» яростно мотались по полю, стараясь изо всех сил, орали друг на друга при каждом неправильном пасе или плохом ударе, и сквозь эти крики до хрипоты иногда явственно проступали слёзы. Как они хотели победить! Но им поразительно не везло: уже при мне они пропустили два гола, и, кажется, назревал третий. Было что-то отчаянно-захватывающее и по-спортивному злое в беготне этих босоногих, со сбитыми коленками, мальчишек, целиком отдававших себя простому футбольному мячу.

Ларка подошла неслышно.

Я увидел её, когда она была уже совсем рядом — волосы схвачены ленточкой, взгляд тревожный и влажный, — вскочил, машинально глянул на часы и сразу — по её глазам, походке, наклону головы — понял: она на что-то решилась. И снова сердце кольнула тревога.

— Здравствуй, — тихо сказала она.

— Здравствуй!

— Сядем?

— Давай...

Было почему-то неловко, мы сидели и молчали. Словно первое свидание — молчаливое и напряжённое. Точно и не было прошлого года, когда всё было легко и просто.

А может, и на самом деле это наше первое свидание?

Ларка опустила глаза, теребила пальцами край платья, я посматривал на неё и лихорадочно искал слова — с чего начать?

— Ну?.. — не выдержала она.

— Что? — глупо переспросил я.

— Ты хотел поговорить.

— Да.

— Ну, говори...

А что говорить? Вот пришла блажь в голову увидеть её и примчался? И мне очень не нравится этот Мишка Бурков? А что нравится ей? Не думал об этом, да? Но надо же о чём-то говорить, хотя выяснять что-то не стоит — не было уверенности ни в чём, да и претензий — ни к ней, ни к себе. И я сказал честно:

— Я не знаю, о чём говорить.

— Да? Зачем же звал?

— Когда звал, думал, надо поговорить, знал, что скажу. А теперь тебя вот увидел и понял — всё зря. Да и что говорить, Лар, зачем? Мы же были хорошими друзьями...

— Да, были...

Мне показалось, она хотела сказать ещё что-то, но промолчала.

— Были, — повторила она тихо. — Только нужно ли ворошить старое?

— Тебе это неприятно, прости...

Она вскинула голову, посмотрела прямо в глаза, сказала резко:

— Слушай, зачем ты приехал, скажи, для чего опять всё перевернул? Я уже забыла всё, понимаешь? За-бы-ла!

— Ничего ты не забыла!

Она молчала.

— Лариса. — Я взял её руку, сжал — сейчас вспыхнет, выдернет, скажет что-нибудь резкое! Нет, не вспыхнула, не отняла руки. — Я очень хочу, чтобы было так... по-старому. Поверь, очень!

— Для тебя это просто. Прилетел, схватил за руку, держишь, а через пару дней опять исчезнешь, и всё.

— Ну почему — всё, Лариса? Ведь я же к тебе приехал, значит, не просто, значит, мне было плохо без тебя. Наверно, не могу я иначе, должен был приехать. И ты об этом знаешь, я уверен.

— Да?.. — Кажется, она усмехнулась.

— Ну вот... — сказал я и почему-то замолчал.

— У меня был парень, и мы с ним неплохо проводили время...

— Почему «был»? — Я ухватился за это слово, как за спасение.

Она снова посмотрела на меня, потом тихо сказала:

— Сегодня я говорила с ним... и он теперь знает. В общем, мы с ним не будем пока встречаться. Только не думай, что это из-за тебя. Нет. Просто мне нужно хорошенько во всём разобраться. Особенно — в себе.

— Почему ты мне не написала?

— Я писала. Сразу после Нового года.

— Но я ничего не получал!

Она опять посмотрела на меня, и я понял: не верит!

— Это правда, Лариса. Я ждал письма, но его не было. Я думал, ты не захотела написать или Андрюшка неправильно дал адрес.

Она достала из нагрудного кармашка платья вчетверо сложенный тетрадный листок, протянула мне. На нём кривым Андрюшкиным почерком был накарябан мой адрес. Всё верно.

— Странно...

Мы так и не узнали, почему то, первое её письмо ко мне так и не пришло. Да и некогда нам потом было разбираться в этом, только немного недоумения тогда, и всё.

— Сам-то ты почему не написал? Ведь тоже мог бы первым!

— Не знаю. Так получилось. Андрюшка накрякал: родители у тебя очень строгие.

— Что за чепуха?! — Её голос дрожал от возмущения. — Совсем средневековая Испания!

Я молчал. Да и что я мог сказать, если сам не знал точно. К чему увёртки? Если посмотреть на это честно? Не хватило желания повернуться к ней. Думал, и так всё будет о'кей! И спрятался за ожидание, как за ширму. Куда она денется? Почти год прошёл, а ничего не понял толком...

Нелепые ошибки и случайности частенько мнут, давят судьбы людей. Недавно близкие люди годами страдают, не зная, что их ударил всего лишь глупый случай, чья-то нечаянная ошибка. И тогда, как спасение, — возможность объясниться. Как последний шанс. Если он бывает. Может, нам немного повезло...

Небо над поляной быстро темнело. Футболистов уже трудно было различать. Они продолжали сражаться, и как они видели мяч, было известно им одним.

— Лариса?

— Что?..

— Давай попробуем ещё раз, а?

— Я знаю, это не нужно, но я пришла. Дело в том, что я не могу иначе.

Мне стало легче, и я снова взял её руку.

— Мы попробуем сделать иначе, да? Тебе остался один десятый, следующим летом ты поступишь к нам учиться, и мы будем рядом, вместе.

Пальцы её рук были холодными. Мне очень хотелось, чтобы она тоже верила в это.

— Не надо обещаний, — сказала Ларка, — с ними трудно жить...

Футбольная битва кончилась, только слышен был в темноте угасающий гомон возбуждённых голосов. На том краю поляны кто-то разжёг костёр, и даже к нам сюда тянуло едким запахом дыма. Поздняя летняя ночь бросила своё покрывало на город высветила над поляной яркие, переливистые звёзды.

Мы сидели на лавочке и почти не разговаривали. Что это — примирение? Но не было же ссоры или хотя бы размолвки. Или просто мы вернулись друг к другу после долгого отсутствия? Мы хотели этого и теперь знали, что нам нужно. Мы были уже достаточно взрослыми, чтобы понимать это, но ещё чересчур юными, чтобы передать свои чувства хорошими, честными и нужными словами. И потому просто молчали...

Не знаю, сколько было времени, когда мы пошли по домам, но Большая Медведица над поляной уже успела прилично повернуться.

Я проводил Лару до калитки, и там, выше по улице, тревожно тлел навстречу нам огонёк папиросы. Может, то был случайный огонёк или кто-то из пацанов жёг камышовую качалку, только врезался он в память мне, этот красный огонёк, и по дороге домой я несколько раз оборачивался и снова искал его.

«Вот, перебил парню», — неожиданно подумал я, но горячая и душная мысль о том, что Лариса могла быть сейчас с ним, а я — жарко раскуривать и вглядываться в темноту, ударила в голову, и я, точно собственник, у которого отнимают владения, сдавленно промычал:

— Н-нет!!!

Потом вспышка прошла. Я понимал, у Мишки больше причин ненавидеть меня, — он терял всё, не мысленно, а конкретно, — и потому старался поскорее забыть и встречу в парке, и ночной разговор под кронами ясеней, свой слоновий напор и дурацкие насмешки Сергея, и братьев-татар, и красный огонёк папиросы. Я старался, но вряд ли из этого могло что выйти...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

2 января *г. Новошахтинск*

Володя, ну вот опять я тебе пишу. Сейчас сижу у мамы на работе, грызу ручку и закрываюсь руками и бумагами, чтобы она не видела, кому и что я пишу.

Завтра уезжаю в Краснодон, где пробуду до десятого июня, потом отправлюсь в Кадиевку на экзамены, а после поеду в царство вечного холода, почти к белым медведям — в город Норильск. И там я буду жить до самой своей кончины, изредка приезжая навестить своих стареющих родителей и немного согреться.

Вот это мои последние новости. А по поводу того, что ты не приехал... Ну что я могу тебе сказать? Наверное, совсем ничего. А упрекать тебя я даже не имею права — выглядело бы это довольно странно.

Хочется только одного: чтобы ты знал, мне было очень обидно — я просидела дома с двадцать второго числа без дела, хотя у меня на руках направление в Краснодон, и вместо того, чтобы ехать работать, я ждала с моря погоды. Глупенький, ведь я тебя больше не увижу, а если когда и встретимся мы на дорогах судьбы, мне будет уже лет тридцать-тридцать пять, тебе же и того больше.

И возможно, мы не узнаем друг друга при встрече, разойдёмся, как совсем чужие люди.

Вот такие-то дела, Владимир В., я даже не знаю твоего отчества.

Может, когда-нибудь я и напишу тебе, но это будет не скоро, пока это я устроюсь, пока то да сё, а телеграммы я тебе больше слать не буду, потому что за свою чрезмерную откровенность я поплатилась самолюбием.

Прощай!

За те два предыдущих письма мне сейчас очень стыдно. И как мы всё-таки бываем бесконечно глупы!

Крепко целую, Лариса.

Ты знаешь, у меня мелькнула мысль — ты не получал моей телеграммы! Возможно ли это?

Л. В.

У меня нет даже твоего фото. Но ничего, мы прекрасно умеем не только грустить, но и смеяться!

Благодарю за жизненный урок.
За то, что мне мозги прополоскал.
Была надежда — слабенький росток,
Но ты его безжалостно сломал.

Не нужен оправданий лживый вздор. —
Что будто мимо воли поступил…
Зачем лепечешь ты, потупив взор?
Ты увлекался лишь и вовсе не любил![1]

1

— Ну, я же тебя предупреждал, что же ты так?

Теперь их пятеро, и место вполне подходящее — длинный сквер от клуба, где и днём ни души. Я бегал за билетами в кино (шёл новый американец «Семь невест для семи братьев» — вечером будет душиловка), ну и подкараулили, попался.

— Ну, ты совсем слов человеческих не понимаешь, — продолжает Мишка гнусным тоном, он не спешит, всё в его руках, и надо продлить удовольствие.

Я напрягаюсь, смотрю по сторонам.

— Ты не гляди, не гляди на них, я сам с тобой справлюсь без лишнего шума.

— Тогда чего их приволок?

— А чтобы ты не сбежал, знаешь, неохота мне за тобой гоняться, а Лёха вон классно бегает. Чемпион.

— А никто тебя не заставляет гоняться.

— Ну, ты шутишь.

— Не сбегу я, не привык. Можешь начинать. Да и брешешь ты всё.

— Не, ты начинаешь оскорблять.

— Ну, короче. — Мне уже надоело. — Давай, начинай, говорю...

— Ну, шустрый!..

Что-то тянет резину. Я начинаю понимать. Нет, так не бывает в этих делах, что-то тут...

— Ну, знаешь, я не злодей, и, учитывая, так сказать твоё пролетарское происхождение и наши древние связи...

— Да ничего ты учитывать не будешь. И вообще, не притронешься ко мне. Сказать, почему?

От такого предложения он как-то сразу сник.

— Потому что ты боишься!

— Тебя, что ли?! — неожиданно взревел он. Заело!

— Меня? Вас вон пятеро, самый последний трус не испугается. Ларку ты боишься! Знаешь, что у вас — всё, но не теряешь надежды. Тебе надо, чтобы я уехал, вот

[1] Стихи в письмах я привожу в переписном виде, без указания авторов, которых иногда не знаю. Сам на авторство этих стихов не претендую. — А.Б.

и стараешься. Грозишься, мужиков своих побольше собираешь. На испуг взять. А тронуть? Не-ет, знаешь, тогда к Ларке тебе уже не подойти... Никогда... Даже поздороваться. А я не уеду, не напрягайся...

Мишка молчит, глаза его налиты бешенством, но он молчит. Парни стоят поодаль, курят и над чем-то регочут. Они друзья и ждут сигнала. Только его не будет.

— Ну что?

Мишка молчит и, кажется, ненавидит.

— Тогда я пошёл, мне некогда. Большой привет! — Я шагнул мимо, потом остановился. — Зря подковы гнёшь. Это не я тебе мешал, а ты мне. Я взял то, что у меня уже было. И я не виноват, что тебе она тоже приглянулась. Так ты и чужую жену потребуешь. Подумай и не печалься...

Но у него своя правота.

2

— Вовка, айда на рыбалку!

— На ставок лягушек гонять?

— Но ты остряк! На Лиман! Чудо-озеро! Чистое и глубокое! Местечко знаю — закачаешься!

— Туда пока дотопаешь, возвращаться надо.

— А мы на великах и с ночёвкой, — оживился Андрюшка, будто я уже согласился. — Погодка классная! Деньков-то хороших с гулькин нос осталось...

С ночёвкой? Заманчиво! Деньков до отъезда действительно осталось немного. И ещё минус один вечер с Ларкой...

— Годится, едем!

— Я знал, ты тоже рыбак ничё...

— Я позову Ларку.

— Ларку? Ты чё?!

— Без неё я не поеду!

— Эх ты!.. — Негодованию Андрюшки не было предела. — Да мы... да... а-а! — махнул он рукой, словно нет в русском языке слов, чтобы выразить то, что он сейчас чувствовал.

— Андрюх, ну давай возьмём её, а? — Подхалимничать было просто необходимо. — Ну что тебе стоит?

Андрюшка посопел ещё пару минут и сдался.

— Ладно, — буркнул он и с досадой поморщился, чтобы я видел: и половины рыбы нет уже в нашем улове, и половины настроения.

Ларка неожиданно согласилась сразу.

— Едем, — сказала она. — Я только сбегаю домой, отпрошусь…

До реки километров восемь, в путь мы двинулись после обеда на велосипедах: я вез на багажнике Ларку, Андрюшка — большую сумку с продуктами и снастями, на обратном пути в сумке должна была перевозиться пойманная рыба.

— Если наловим полную сумку, ты её не довезёшь! — смеялась перед этим Ларка при виде огромной сумки на багажнике Андрюшкиного велосипеда.

Андрюшка снисходительно улыбнулся, поправил привязанную к раме велосипеда палатку.

— Не тяжелей тебя! — отметил он ехидненько. — Ничё, посмотрим, как будет пыхтеть твой Вовка! — И покатил впереди нас по улице.

Ларка посмотрела на меня и ничего не сказала. А у меня просто сразу поднялось настроение: ведь уже все, даже Андрюшка, привычно употребляют слово «твой», а Ларка молчит, значит, согласна, и ей тоже нравится это слово.

Мы помчались догонять Андрюшку.

В конце улицы, поперек её — междугородное шоссе. Река ныряла под него далеко от города. И где-то там отличное, со слов Андрюшки, место, где рыбы тьма, а рыбаков нет совсем, потому что никто, кроме Андрюшки, этого места не знает. Только вот Ларка навязалась — возни с девчонками много, а пользы от них мало, и всем это хорошо известно.

Эх, Андрюшка, Андрюшка! Открыть тебе великую тайну, что ли?

В знак протеста он нацепил независимый вид, вооружился начальственным тоном, и мы поняли: отвлекаться от рыбной ловли он не намерен, разве что сварить уху да поставить палатку. И всё. А мы можем делать, что нам угодно, только не мешать ему. Ну что нам оставалось? Лишь соглашаться...

Через час мы съехали с шоссе, стали петлять тропинкой к Андрюшкиному месту.

По-местному река почему-то звалась Лиманом. И ещё — озером. Небольшую речку перегородили где-то ниже по течению, и с годами она затопила огромную, изрезанную оврагами и балками долину. Получился громадный пруд или даже водохранилище.

Мы пробирались правым берегом, высоким и неровным — из зарослей травы и кустарника торчали нагромождения голых скал, местами они висели над водой метров на десять-двенадцать, кругом россыпи камней из слоистого мергеля, крохотные ущелья.

Левый берег пологий. Он покрыт сплошным ковром травы, к воде легко подъехать на машине или мотоцикле — мы видели там рыболовов, стояли машины, кое-где дымились костры, над ними висели котелки.

Минут двадцать мы терзали тропинку, а она нас. Мы прошли мимо знаменитого одинокого дерева на ровной площадке высоко над водой. На длинной веревке — как раз до обрыва — к дереву привязывался велосипед, потом смельчак разгонялся с противоположной стороны и мчался к реке, верёвка резко тормозила, и он кубарем летел в воду метров с десяти. Это было не под смелость каждому, но кто решался, тот был героем.

И вот, наконец, позади остались все крутые склоны оврагов, узкие проходы между камней, мелководные бухточки, густо поросшие камышом со зрелыми, лысоватыми качалками, и вдруг тропинка нырнула в большой оросительный канал. Мы выбрались почти к началу Лимана.

— Вот это место! — торжественно ткнул Андрюшка пальцем в берег на той стороне канала — сравнительно ровную площадку с большим, похожим на усеченную пирамиду, камнем посредине. — В Лимане можно на удочки и донки, в канале — на блесну, есть щуки. — Он секунду подумал и добавил:

— Должны быть... Давайте переправляться.

— Сейчас погрузим велосипеды в твою сумку и поплывём, — ковырнул я Андрюшку.

— Без сумки обойдёмся. Далась вам эта сумка, ещё вспомните про неё, когда понадобится. — Он попробовал пальцем ноги воду. — Ничё, тёплая. В конце лета здесь её обычно мало. Не получится вброд, придётся объезжать, до мостика километра два.

Он снял трико, навьючил на плечи сумку, потом для чего-то почесал голое плечо, нерешительно шагнул в воду и сразу провалился но пояс.

— Ух ты! — вырвалось у него, он присел пару раз, намочив спину, и медленно побрел через канал, погружаясь и нагребая животом небольшую волну.

Скоро вода дошла ему до груди, потом голова, плечи и сумка начали медленно выдвигаться из чёрной, взбаламученной жижи.

— Порядок! Давайте без мандража... — Андрюшка бросил сумку на обрывчик противоположного берега, повернул назад.

Я тоже разделся. Ларка стояла рядом, бросала отрывистые взгляды то на воду, то на тот берег и не решалась. Потом вдруг резко пошла к каналу, и я понял — она собирается переходить одетой.

— Лариса, давай я перенесу тебя! — боясь своих слов, предложил я.

— Нет, я сама...

— Стой! — Я бросился к ней, схватил за руку. — Мне не трудно, честное слово, а ты вымокнешь! Уже вечер, ты не успеешь просохнуть, а ночи уже дуборные...

Всё это было выпалено одним духом, наверное, звучало неубедительно, и я боялся — она остановит меня новым отказом, а я уже не буду настаивать.

Ларка смотрела на меня и улыбалась, а я напряжённо молчал, чувствуя, как уносит в поле свежий ветерок мои слова, как становятся они всё меньше, меньше, тают...

Она ещё посмотрела на меня и опустила глаза. И я понял!

Носить девчонок на руках мне не приходилось, разве что, совсем маленьких, да и, если честно сказать, не нравилось мне это занятие, но Ларку я готов был носить сколько угодно — сейчас это мне было очень нужно. Словно со скалы вниз головой, ринулся я к ней, поднял — она обняла меня руками за шею — и моментально забушевало, заколотилось сердце, закружилась голова — я почувствовал запах её волос, чистый и чуть терпкий. Пряча волнение, пошёл к каналу.

Нет, не тяжела она была и, конечно, не тяжелее полной сумки — зря Андрюшка молол, — я только опасался крутого спуска в воде, где он провалился по пояс, боялся не заметить его начала: ноги скользнут по склону, и всё... я шлепнусь в воду вместе с Ларкой, навеки покрыв свою голову позором.

Наверное, даже чересчур осторожно, словно с редчайшей вазой китайского фарфора в руках, ступил я в воду, пошёл, пошёл, и, когда мои ноги всё же неожиданно скользнули по жидкому илу вниз, я напрягся, на секунду прижал к себе Ларку и, с восторгом почувствовав, как она тоже прильнула ко мне, удержал равновесие.

Я ощущал это её объятие на протяжении всего пути через канал, у меня горело плечо, которого касалась её грудь, под нашим общим весом ноги мои вязли в иле выше щиколоток, но я уже жалел, что дальше дно было ровным, без всяких сюрпризов.

Воды в канале действительно мало, да и узкий он ужасно — всего пару счастливых минут, и я поставил Ларку на зелёный шелк противоположного берега. Андрюшка, возвращаясь за велосипедом, при встрече посмотрел на меня с состраданием.

Довольный сделанным, я бросился обратно — помогать Андрюшке.

3

Конечно, всем распоряжался Андрюшка.

Он выбрал место для палатки, начал её устанавливать, а нас послал к старой скирде за полем принести соломы на подстилку, потом погнал в дальнюю лесополосу собирать сушняк для костра. Мы тащили хворост к нашей палатке, и где-то высоко над нами звенел жаворонок, воздух, разбавленный запахами реки, распирал грудь, щекотно колола наши босые подошвы золотистая стерня. И сразу — такие ощущения, такая свобода... Эх!

Ну, Андрюшка — начальник! Только покончив с хозяйственными заботами, разрешил нам взять удочки и идти к воде.

Река в этом месте глубокая, дно уходило вниз почти отвесно. Мы с Ларкой поставили высоко поплавки, забросили удочки и стали ждать клёва.

Андрюшка устроился чуть поодаль, на завороте берега к каналу, ловил на две удочки, изредка бросая в нас короткие взгляды. Рыбацкая кровь заволновалась...

Солнце ещё высоко висело над Лиманом, но вечер уже наступил: жара спала, и веяло безветренной прохладой, что бывает над водой летом после жаркого дня, когда чувствуешь, как тебя обдаёт чем-то чистым и лёгким, тянет свежестью, словно запахом хороших духов в комнате, где всё неподвижно и спокойно.

Поплавки не подавали признаков подводной жизни. Мы начали уже сильно сомневаться в «закачиваемости» места, «известного одному Андрюшке», как вдруг от него донёсся возглас (если не вопль!) радости, мы обернулись: на Андрюшкиной удочке серебром блеснула рыбёшка.

Через минуту возглас повторился, и стало ясно — он предназначался нашему слуху. Мы с Ларкой переглянулись, пожали плечами и сделали вид, будто ничего не слышим, ещё сосредоточенней уставились на наши поплавки.

На поплавок её удочки села стрекоза. Поплавок наклонился, слегка притонул, Ларка шёпотом стала ругать стрекозу за столь великое нахальство и совсем ненужный визит, та бесчувственно сносила её возмущения, — поплавок вдруг дёрнулся в сторону, качнулся и пропал под водой так быстро, что бесцеремонная стрекоза едва успела спастись. Ларка явно зевнула — вырванный из воды крючок был гол, как в магазине.

— Спокойнее, не спеши... — Я насаживал на её крючок нового червя.

— Да эта!.. Противная!.. — Голос Ларки дрожал от возмущения и азарта.

В это время заплясал поплавок моей удочки, косо ушёл под воду. Я бросил её удочку, схватил свою... Поздно...

— Спокойнее! Не спеши! — смеялась Ларка.

— Закон подлости! Клюёт как раз в тот момент, когда ты занят чем-то другим...

От Андрюшки донёсся очередной возглас радости.

— Я поняла, он нас надул, — сказала Ларка.

— Почему?

— То место, где рыба — там. — Она показала в сторону Андрюшки.

— Да ну? Слишком близко. Не может же она кучковаться возле него.

— Может. Там или яма какая-то, где живёт рыба, или ещё что-то. Не зря же он отделился и теперь дразнит нас...

Но потом пошло и у нас.

Сначала маленькая таранка, потом окунь, ещё окунь, и — Ларкиной удочкой — приличный карась.

Клёв стал совсем хорошим, теперь мы уже подавали Андрюшке сигналы радости, да так восторженно, что он подавленно замолчал.

Ларка снимала рыбку с крючка, и глаза её светились счастьем. Глядя на неё, я радовался так, словно поймали мы по меньшей мере метрового осётра.

В нашем садке плескалось уже около трёх десятков разной рыбьей мелочи, и тут клёв внезапно прекратился. Занятые рыбалкой, мы только сейчас заметили, что солнце село, и краски догорающей зари играют на небе и воде, переливаются, меняясь, накатываются волнами, будто дразнят какого-то зазевавшегося художника.

Небо от тёмно-синего на востоке цветными ступеньками спускалось к багряному на западе, вода светилась серым, голубым, золотым и оранжевым, точно кто уложил на поверхность Лимана огромную живую, шевелящуюся мозаику.

Изредка где-то на середине вскидывалась крупная рыбина, и тогда на кругах от всплеска горела золотая, с тёмно-изумрудным основанием, корона, росла — всё ближе, ближе к нам и пропадала где-то в темноте.

Мы побросали удочки в траву, сидели молча, смотрели на угасающую зарю, пока небо из синего не стало тёмно-синим, затем фиолетовым, контуры скал на берегу расплылись, потеряли очертания. Подул лёгкий ночной ветерок, вода зарябилась тусклым свинцом, над Лиманом повисли первые звёзды — чистые, точно умытые в реке.

Река стала совсем чёрной, лишь светился во мраке двойной огонёк костра на далёком мыске противоположного берега, бросал в нашу сторону зыбкую, едва заметную дорожку.

Андрюшка возился возле палатки, мы с Ларкой подобрали удочки, пошли к нему.

— Сколько у вас?

— Не считали, — ответил я.

— А у меня — вот. — Он небрежно бросил луч фонарика на свой садок. Тот был заметно толще и увесистее нашего.

— Ничего... — как можно безразличнее ответил я.

— Кому ничё, а кому и чё! — возмутился Андрюшка, презрительно коснулся ногой нашего садка. — Я бы со стыда сгорел...

— Ну ладно, не задавайся...

Сказать, что Андрюшка просто рыбак, — значит не сказать ничего. Он настоящий фанатик! Ради рыбалки Андрюшка готов на всё и от всего откажется. И всё ему в радость: шагать, ехать, мокнуть, спать, где придётся, только бы подержать в руках удочку, обмануть, выудить хитрую рыбёху, глотнуть азарт, кого-то обштопать в добром соперничестве. И ещё быть первым, вызвать в чьих-то глазах тихую зависть своей удаче, своему умению. Иногда он терял чувство меры, перешагивал его в своём страстном стремлении, но его можно было понять и не обижаться.

Он порылся в сумке, достал закопчённый котелок, треногу, протянул мне.

— Разжигайте костёр, чистите рыбу, а я сейчас...

— Сколько чистить? — спросила Ларка.

— С полкотелка, но чтоб не получилась каша... — Он исчез в темноте.

Пока Ларка с помощью фонарика отбирала рыбу, я установил треногу, развёл под ней костёр. Маленький огонёк скользнул по соломинкам, перебрался на сухие веточки акации, пламя поднялось, и стало видно Ларкино лицо, будто написанное светлыми, красноватых тонов, красками на тёмном фоне. Она смотрела загадочно и улыбалась. Потянуло теплом, запахом дыма и каким-то домашним уютом.

При свете костра мы начистили полкотелка мелкой рыбы, остальную я высыпал в Андрюшкину сумку, переложил мокрой травой. Ларка чистила картошку и лук, я принёс речной воды для ухи.

— Куда он провалился? — спросила Ларка. — Уже всё готово.

— Не знаю. Сказал — сейчас.

— Давай варить сами.

— Он нас поубивает.

— А так с голоду помрём...

— Андрюха-а! — крикнул я.

— Чё-о? — донеслось из темноты.

— Чего ты там застрял?

— Иду-у!

— Ставь воду пока, — сказала Ларка. — Картошку и лук я положила.

Я повесил котелок над огнём, присел у костра рядом с Ларкой...

5

Мы смотрели на игру пламени и молчали. Оно завораживало своей таинственностью, непостоянством и какой-то первородной силой. Фиолетовые язычки взбирались на подкинутые в костёр ветки, секунду плясали на них и, ярко вспыхивая, устремлялись вверх, словно хотели оторваться и улететь далеко-далеко. Изредка костёр выстреливал снопиком искр, и снова огонь шумел весело, почти без дыма, катил на нас волны тепла и света.

Подошёл мокрый Андрюшка, высыпал из майки на траву десятка два раков. Те сразу — врассыпную. Андрюшка быстро собрал раков опять в майку, положил её на траву возле палатки, сказал довольно:

— Я блюдо вам приготовлю — цимус!

— Что за блюдо? — недоверчиво спросила Ларка.

— Ничего нет на свете вкуснее печёных раков! Будем печь в золе.

Ларка пожала плечами.

Я никогда не ел печёных раков, но восторгаться не хотелось, и я промолчал.

— Зря вы так, — обиделся Андрюшка. — Для вас же в потёмках лазил и сейчас дуборняк держу. Попробуете, тогда узнаете.

— Попробуем, — покорно согласился я.

Он сидел напротив нас, грелся и строил усмешки. Он ещё не хотел понимать, как это рыбалку можно разделить с девчонкой, иногда обижался и немного играл: то опытного рыбака, а то и просто доброго дядю — и всё было в этой игре: нетерпение, снисходительность, муки и радости дружбы. Часто он забывал про игру, и тогда на его веснушчатом лице светились простым любопытством добрые мальчишеские глаза.

Ларка притихла, неотрывно смотрела на пляску огня. О чём она думала? Поди узнай...

Вода в котелке забулькала, и за уху взялся Андрюшка. Он колдовал над ней, а мы опять были подсобными рабочими: подай то, принеси это, подложи дров... Он успевал отдать команду прежде, чем мы могли догадаться сами, — он снова восседал на всей высоте своего ответственного положения, и нам приходилось только выполнять его приказы да терпеливо дожидаться «чуда в котелке». Над костром струился парной, аппетитный запах, и чувствовали мы себя так, словно не ели неделю.

Андрюшка морщил короткий нос, дул в дымящуюся ложку — пробовал уху. Наконец поднял большой палец руки, снял котелок с огня. Готова! Откуда-то из темноты принёс хлеб, миски и ложки, начерпал из котелка полную миску, подал Ларке.

— Ешьте, миледи, наслаждайтесь и радуйтесь, пока я жив! — торжественно изрёк он и весело засмеялся.

Мы ели, впитывали запах свежей ухи с дымком на пьяном речном воздухе, обжигаясь, с трудом держали горячие миски в руках. Уха действительно была очень вкусна, а мы голодны, как львы.

Костёр угасал, потянуло прохладным дыханием реки. Андрюшка подбросил последний запас сушняка, тепло снова охватило нас снаружи, подмешалось к горячей ухе внутри, и стало совсем хорошо — не хотелось двигаться и разговаривать.

Андрюшка нашёл в сумке транзистор — маленький, в кожаном чехле приёмник, — покрутил его, поймал какую-то музыку. И сразу в первобытную темноту вокруг костра ворвалась цивилизация, заполнила всё, ничуть не испортив нашего настроения и наших ощущений.

Неожиданно Ларка положила мне голову на плечо. Я вздрогнул от удивления, встревожился, восхитился и почувствовал себя на вершине блаженства, но жаль, не успел им насладиться — так же неожиданно она убрала голову: то ли поняла моё состояние, то ли ещё что-то, но то, что ко всему добавила разочарование, это уж точно.

Я всё время помнил: скоро идти спать, и мне было чуточку страшно. Страшно и сладко. Ведь это же не просто так — провести ночь рядом с Ларкой. Но надо ли будет что-то делать? Окажись сейчас на её месте любая другая девчонка, никаких сомнений бы не было: я бы знал — надо или не надо. Мог бы забраться в палатку и проспать до утра. Мог бы потянуть резину, прикинуться даже, что мне интересно, я увлечён. Я бы знал обо всём сразу и хорошо. А тут? И вообще, можно ли спать в такую ночь? А вдруг я храплю? Нельзя увидеть самого себя спящим, услышать собственный храп. Как быть? Чтобы не потерять себя в её глазах, не ошибиться? Не сказать что-то не то, не сделать, когда очень хочется и говорить, и делать... Ох, не-

достатки, недостатки! Куда бы вас спрятать, как бы от вас избавиться? Чтобы никто не видел, никто не знал? Как быть тем, кто видит их в себе особенно отчётливо?..

Откуда я тогда мог знать, что женщины способны любить и за недостатки?!

Пламя костра сникло, опало совсем, буро-красные угли испускали сизый дымок, тускнели на глазах.

Андрюшка высыпал в костер раков, палкой нагреб горку угольев над будущим «цимусом».

— Пока погаснет, будут готовы! — объявил он, но через пяток минут откровенно зазевал, попросил:

— Ларис, ты не постелешь? Одеяла в палатке...

Ларка посмотрела на него, молча пошла в палатку. Он снова растянул рот в зевке, спросил:

— Сколько там натикало?

— Половину второго.

— Ого! Надо спать. А то зорьку — того, продрыхнем! — Он встал, потянулся, махнул рукой в сторону костра. — А ну их! Пусть пекутся. На завтрак будут... Ларк, ты скоро?

— Уже готово. — Ларка выбралась из палатки...

5

Мы остались вдвоём.

Остались среди ночи и безмолвия у затухающего костра, и мне хотелось говорить, говорить, сказать ей многое, если не всё. Рядом дышала река, где-то стрекотали сверчки, ветерок ласкал её руки, губы. Беспокойные, неясные желания бродили в моей голове, горячили мысли, но я молчал. С чего начать? Как? Ведь это же не просто так мы снова вдвоём под звёздным покрывалом неба, и вокруг ни души, если не считать соню-Андрюшку?

— Мне холодно. — Лариса поёжилась, запахнула Андрюшкину куртку. — Идём в палатку.

В палатку! Ну вот, наконец! Я дрожал от нетерпения. Пропустил её, полез сам. И вдруг... прямо посредине развалился Андрюшка. Пнуть его, что ли? Пусть думает не только о себе! Но что-то помешало мне, и я сдержался. Спит! Я нащупал свободное место, лёг. Андрюшка между нами. Ладно, пусть лежит, — по крайней мере, можно свалить на его недогадливость. Но всё равно я чувствовал только досаду...

Спать не хотелось. Включил транзистор. Эстрадная программа «Маяка» негромко лилась по палатке. «Ла, меццалуна...» — шептал нам певец, и мы понимали его, как, наверное, поняли бы сейчас всё, связанное с любовью.

Я почувствовал её руку над Андрюшкиной головой, — наверное, она искала мою ладонь. Немедленно откликнулся на зов, легонько сжал её холодные пальцы. Над Андрюшкиной головой сплелась арка из рук, он спал, ничего не подозревая. Держась за руки, мы молчали — за нас говорила музыка.

Это рукопожатие тогда заменило нам всё. Нужные и нежные слова, объятья и всё то, что людям старше уже не заменит простое прикосновение рук. Мы объяснялись, понимали друг друга, чувствовали и боялись шевельнуться, чтобы случайно не сломать наше безмолвное единение.

Так лежали мы долго, и когда я уснул, не знаю...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

17 января *г. Кадиевка*

Здравствуй, Володя!

Ответ даю молниеносно, потому что не знаю, буду ли здесь завтра или нет.

Только что вернулась из училища, где меня здорово выматюкали и прогнали до приезда мамы, которой уже дали телеграмму.

Попробую — подробно.

Кажется, я тебе писала, что у нас выпустили шесть групп кулинаров и распределили только по нашей области, то есть просто рассовали по углам. В этом месяце выпускают ещё три группы. Девать их некуда, и потому выпускников сажают на головы первым. Что из этого получается, суди сам. И теперь наша практика полетела кувырком. Пока мы мотались домой, наши места моментально заняли, вот мы сидим и «кукарекаем». Рая устроилась на завод, а я сижу, Натка — тоже.

Ей отец вчера прислал телеграмму, чтобы она выезжала и устраивалась на работу дома. Я решила ехать с ней. С такими вот намерениями мы и направились сегодня в училище. Встретили нас так, как всегда встречают в подобных случаях: молча выслушали и так же молча указали на дверь кабинета.

Через полчаса наша участь была решена: Натку отправить домой, а меня — тоже домой, для чего маме дать телеграмму, чтобы она приехала и забрала меня. Как видишь, все сделано чисто и гладко: скидывают меня-обузу на «мощные» плечи мамы. Как говорится, с рук на руки.

Вот я сижу и жду маму, а когда она приедет, никто не знает. Может, неделю буду сидеть, а может, уеду даже сегодня.

По правде сказать, ехать не хочется. Будешь там торчать всё время дома, а если вдруг куда пойдёшь, вернуться нужно не позже десяти вечера. Все (родные) будут стараться воспитать порядочную и прилежную девушку, которая бы всё умела делать, разговаривала бы, не повышая голоса, и всех бы слушалась.

Потом они найдут мне мужа тридцати лет, но с хорошей зарплатой. И все будут страшно довольны, при всяком удобном случае я буду слышать: «Ларочка, благодари нас за своё семейное счастье! Ну, скажи, что тебя может не радовать?»

И я должна буду отвечать с сияющим лицом и блестящими от радости (или от глупости) глазами: «Ах, спасибо! Я этого никогда не забуду...»

Эх, Володя! Хорошо вам, мальчишкам! Только от того, что за вами не следят, вы должны быть счастливы. А за нами! Идёшь в туалет, тебе кричат: «Куда пошла?» — и — «Долго не задерживайся!» Скажи, ну не смешно ли это? И обидно.

Так вот, гуляем ли мы в компании, бродим ли ночью по городу и курим (пробуем, конечно) или ещё что-то делаем «нежелательное» для девушек нашего возраста, всё это без разрешения и в большей степени оттого, что такого разрешения никогда не будет ни под каким предлогом. А раз за каждую минуту, пробытую вне дома, приходится отчитываться, то, соответственно, — и врать безбожно, не краснея и придумывая всё, что хоть немного смахивает на правду.

Вот так я буду жить дома. Но всё равно я к тебе скоро приеду — числа двадцать пятого, а может, и раньше. Одного я боюсь, и знаешь чего? Ведь мы с тобой всё так же мало знакомы, и то, что было раньше, мне кажется теперь просто детством. Я боюсь, ты можешь оказаться совсем не таким, каким я тебя помню и сейчас представляю, да и я могу быть не той, которую ты ждёшь. Что, если так получится? Я приеду, а ты разочаруешься, что тогда?

Мне, например, нравятся мальчишки смелые и легкомысленные, которым море по колено (не по пьянке, конечно). Не стал ли ты этаким «социалистическим» парнем, у которого есть цель и голова? Тогда я буду сидеть возле тебя и молчать, чтобы не ляпнуть глупость, а если и скажу что, то буду немилосердно краснеть и сомневаться. Опять же, что тогда?

Ответ пиши в Новошахтинск — к тому времени я уже буду там. На поездку к тебе разрешения от мамы я, конечно, не получу. Практика кончается первого июня в семь часов утра. Потом — один месяц каникул и два года отработки по своему

усмотрению. Если удастся свистнуть паспорт, отрабатывать не буду — не нравится. Пока всё. До свиданья.

У меня был знакомый парень, он говорил, что умеет целоваться по-французски, по-английски, по-немецки и по-индийски, а по-русски нет. Не похож ли ты на него? Лариса.

1.

Утреннюю зорьку мы с Ларкой, конечно, проспали. Коварный Андрюшка — то ли продрых сам, то ли с умыслом — нас не разбудил. Когда Ларка растормошила меня, солнце стояло уже высоко.

Я поспешно пополз из палатки.

Ещё не жарко. Слабый ветерок слегка рябит воду, небо словно выполоскано в синьке.

Андрюшка с удочками на прежнем месте, и в садке у него уже что-то есть.

Ларка только что умылась. Её лицо в капельках речной свежести. Я смотрел на неё и морщился от стыда и досады, что проспал именно я. Глянул на часы: двадцать минут девятого! Подошёл к Андрюшке:

— Чего не разбудил?

Он молча уставился на поплавки.

— Оглох, да?

— Мы, кажется, рыбалить приехали... — Он сильно занят своими удочками.

— Ты бы мог...

— Пушек нет, стрелять не из чего... — развёл руками Андрюшка.

— Вот козёл!

В ответ — молчание. Может быть, даже в знак согласия.

Потом я понял причину. Просто ему очень хотелось поймать больше всех, доказать, затвердить свою рыбацкую умелость, но тогда мне было очень обидно. Проспать самым подлым образом! Да ещё при Ларке...

— Есть что-нибудь? — спросил я безразлично.

Он поднял садок из воды, показал. Садок затрепыхал живым серебром — пухлый, увесистый.

— Неплохо.

— Прикормил с вечера, — признался Андрюшка.

Он вытащил из земли колышек, потянул из воды бечёвку. На кукане сидел небольшой сазанчик.

— Откуда? — не поверил я.

— Две донки на ночь.

— Когда успел?

— А как раков ловил. Одна пустая, на второй вот есть.

— Заныкал донки.

— А как же? Хотел сюрприз сотворить!

— Хитрюга ты, Андрюшка.

— Ну-у, рыбак и должен быть таким! — засмеялся он.

— И ханыга...

— Ну, ладно, короче...

— Володь, иди рыбу ловить. — Ларка на нашем месте разматывала удочку.

— Поздновато собрались, — сказал Андрюшка. — Клёва уже ма.

— Сам наклевался, а нам — «ма»! Ничего, попробуем.

— Давай-давай. Пока попробуешь, солнце уже печь будет! — Андрюшка снова уставился на поплавки.

Что припозднились мы с Ларкой, это точно. Видно, день ожидался жаркий, и рыба

это знала лучше нас. Редкая поклёвка была ленивой и неохотной. Уменя чесались руки от желания схватить рыбину и засунуть ей в рот крючок с червяком, хотя бы для того, чтоб дёрнула она за него, как следует. Только как это сделать, когда она там, а мы здесь, когда у неё свои заботы, и ей начхать на наши чаяния? Я знал, сидеть у воды бесполезно, и азарт уже прошёл совсем, и солнце сильно припекает спину, но тянул время, с затаённой надеждой смотрел на поплавок — а вдруг?!

Подошёл Андрюшка. Удочки его смотаны, в руке улов. Он нехотя глянул на наши поплавки, спросил:

— Хавать будем?

— А есть что-нибудь?

— Конечно. Хлеб, помидоры и... — Он выдержал паузу и объявил почти торжественно:

— Кажется, вы забыли — печёные раки!

— Печёных раков ешь сам, — сказала Ларка.

— Болтай, болтай! Посмотрю, как будешь облизываться!

— Зря надеешься.

— Ох, как будешь жалеть! — В его голосе сплошная уверенность и чуточку великодушия. — Да я никого не заставляю, гражданы, я только пытаюсь популярно объяснить тем, кто ничё не рубит... Давайте перекусим и начнём собираться.

Мы смотали удочки, вернулись к палатке.

В той же сумке нашлись помидоры и пакет с остатками хлеба. Андрюшка вооружился палкой, стал ковырять в золе вчерашнего костра. Накатал горку черных раков, сбегал к воде, помыл их и высыпал перед нами на траву.

— Прошу, панове!

Раки выглядели по крайней мере странно. У большинства один бок обгорел до угольев, другой зеленел по-речному, между этими двумя крайностями слабо проглядывалась красная полоска — свидетельство готовности блюда. Были ещё совсем чёрные, красных не попадалось.

— Перевёл только, — сказала Ларка. — Надо было сварить.

— Тебя вразумлять — без пользы время тратить! Я уже внушал вам: печёные вкуснее! Наваливайтесь без страха...

Мы стали есть помидоры и хлеб.

— Не хотите, не надо, мне больше будет, — обиделся Андрюшка, стал чистить рака.

Он ел, а мы смотрели на него. Он съел сначала чёрного рака, затем с трудом прожевал трехцветного. Мы ждали. Андрюшка явно тянул время.

— Что же ты больше не ешь? — поинтересовалась Ларка. — Вкусные?

— Уже наелся. Они очень питательные.

— Надо было следить за ними, когда пёк, переворачивать, подгребать золу, а ты бросил их в костёр и завалился спать. Я же говорю, — только испортил.

— Почему? Он любит как раз такие — трехцветные!

Андрюшка поморщился, помолчал, потом нехотя признался:

— Прямо слипались глаза... Особенно после ухи. Да и зорьку проспать боялся… Какая-то дрянь получилась. Ну, ничё, когда-нибудь не поленюсь, заделаю их вам по-настоящему! Пальчики оближете!..

— Нужен ты?! Спать хотел — надо было выпустить их в речку, — сказала сердито Ларка и отвернулась.

Андрюшка молча собрал оставшихся раков, зашвырнул их далеко в воду.

Потом мы купались.

Вода в реке прохладная и чистая. На глубине, если откроешь глаза, смутно прочерчивается скалистое дно, круто уходит в черноту.

Сначала купались мы с Андрюшкой, потом, загнав нас за палатку, купалась Лар-

ка. Мы сидели за палаткой, обсыхали и жалели, что не получилось купаться вместе, — было бы веселее...

Собрались домой быстро. Мы с Андрюшкой сложили палатку, Ларка вымыла посуду, потом песком начала оттирать бока котелка от вековой копоти.

— Брось, — отобрал у неё котелок Андрюшка. — Без пользы тереть, да и без нужды. Смехота будет — на рыбалку с блестящим котелком...

Назад Андрюшка повёл нас другой дорогой — в обход канала через мостик, так оказалось даже ближе, но у меня имелись причины быть недовольным...

2

Андрюшка весь наш улов отдал Ларке.

— Возьми, — сказал он.

— Не надо. Мне не нужно.

— Возьми, — повторил он, — а то обижусь.

Он знал, никто не любит, когда он обижается.

— Это нечестно, — осторожно упиралась Ларка. — Давайте хотя бы разделим.

— Всё честно! И ты ничё, молодец! Тебя можно брать с собой. Хоть и девчонка, возиться с тобой почти не пришлось. Рыбу ты заслужила, а нам я всегда могу поймать.

Наглость Андрюшки не имела границ, но мы молчали. Потом он уехал.

— До вечера, — сказал я Ларке.

— До вечера... — Её чёрные глаза улыбались. — Что же ты не едешь?

— Сейчас поеду.

— Я тебе не надоела?

— Словно и не было никакой рыбалки...

Ларка снова улыбнулась, потом как-то сразу посерьёзнела, посмотрела прямо, сказала:

— Езжай всё же.

— Поеду...

— Ну, я пошла?

— Иди...

Она ушла. Я постоял немного и закрутил педали вслед за Андрюшкой.

У своей калитки он отвязывал от велосипеда палатку. Я — сразу с лёта и сердито:

— Ты, что ли, с ней возился?

— С чего ты взял?

— Тогда зачем болтаешь: «Возиться с тобой почти не пришлось»?

— Но ты же её волок через канал.

— Это моё дело. Тебе-то что, жарко или холодно?

— Для друга старался, — погрустнел Андрюшка. — Думал, спасибо скажет, что назад поехали через мостик.

— Болван! — вырвалось у меня.

— Это почему же?! — возмутился Андрюшка.

Я посмотрел в его честные глаза. Спорить было бесполезно, разница в наших возрастах ещё действовала.

— Думать надо башкой, а не задницей! — ответил я, пошёл к своему двору.

— Сам ты ею думаешь! — крикнул Андрюшка через улицу, потом, прожевав обидчивость, спросил:

— Делать что будешь?

— Не знаю. Может, завалюсь спать до вечера.

— Приходи ко мне.

— Ладно. Гляну только, что дома...

3

Прошло два дня.

Над нашей улицей висит тишина, дворовый фонарь бросает жёлтые отблески света на Ларкино лицо, слабо шевелит листвой тютина над скамейкой.

Завтра мне уезжать, и я чувствую себя так, точно никогда и ни о чём не говорил с Ларкой, так много хочется сказать, и главное, просто необходимо решить, как быть дальше? Разлука вновь встает между нами, неясная, тревожная, такая долгая и беспощадная — что она нам принесёт в этот раз? И я молчу.

— О чём ты думаешь?

— Не хочу уезжать.

— Я тоже не хочу... — Её голос пульсирует толчками сердца, глаза что-то ищут в темноте улицы.

— Возьму и не поеду!

— И как ты объяснишь дома?

— Никак. Не поеду, и всё!

— Не надо, Володя. Это глупо.

— Да. К сожалению.

— Мы пока ничего не можем. — Она смотрела на меня, грустно улыбалась.

— Почему ничего? Можем не расставаться надолго, приезжать. Ведь недалеко же, почти рядом. Надо только очень хотеть.

— Я хочу этого.

— Я — тоже! Потому что не знаю, как буду без тебя...

Калитка чуть приоткрылась, из неё высунулся детский нос. Ларкина сестрёнка Валюша.

— Лариса, мама зовёт.

— Иди, я сейчас...

— Сказала без тебя не приходить.

— Да иди же!.. — Ларка прикрыла калитку. Из-за неё донеслось:

— Мама сказала, пусть жених идёт домой, спать пора...

Жених! Ну вот, услышал. Мне было грустно и весело одновременно.

Ларка угрожающе открыла калитку. Но там уже было пусто.

Минута расставания пришла всё равно. Как всегда в жизни, слишком рано, когда многое ещё не сказано и не сделано — нога занесена, но ступить пока не пришлось. Уже ушли в прошлое тёплые вечера ещё одного лета, встречи, слова, лавочка на поляне — ушли, догоняют стремительные поездки на велосипеде по ночным улицам Новошахтинска и кисло-сладкий виноград лета предыдущего.

Мне очень хотелось поцеловать её, я был уверен — она ждёт этого, не уходит, и надо сделать всего лишь маленький шаг, он прояснит всё, поставит на свои места, станет залогом будущего, надо... — и снова я мучительно не знал, с чего начать, чтобы не повторилась та попытка, чтобы снова не промахнуться, краснея потом и кляня себя, — какая-то неведомая сила удерживала меня, и я не решился...

Лариса ушла. Я сидел, вслушивался в негромкие голоса у неё во дворе, на душе было непонятно тоскливо, на сердце — пусто, только ощущение того, что опять я поступил не так, не доделал самого главного, хотя мог бы, давило на сознание, насылало сомнения в том, что между нами может быть как-то иначе.

Наверное, тогда мы были ещё слишком молоды и потому шли друг другу навстречу словно бы ночью, да ещё с завязанными глазами, и всегда впереди почему-то маячил страх перед возвышенностью человека, который очень нравится, даже если не признаёшься в этом себе до конца, — он всегда лучше всех, значительнее, в его глазах ты сам должен быть не хуже, — не дай Бог, чтобы в этом он хоть на секунду

засомневался! Здесь мало опыта, много ошибок, зато всё честно и чисто, и счастлив тот, кто успел полюбить, не успев ткнуться носом в случайную порочную связь.

Утром я уехал. И дома по ночам мне часто снилась её точеная фигурка, а вечерами очень не хватало её голоса, чёрных внимательных глаз...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

19 января,

10 часов вечера.

Володя, милый, извини, но сам видишь, письмо я тебе пишу уже второй день и всё никак не отправлю. Сейчас собираюсь ложиться спать и пробую писать прямо в постели.

Все эти дни я занималась дипломной работой — нам сдавать её завтра, а приступила я к ней только шестнадцатого, потому сидела над ней день и ночь. За эти четыре дня я похудела сильнее, чем за месяц диеты. Дорога каждая минута, и нет времени даже бросить письмо — для этого нужно шлёпать по грязи до магазина.

Володя, на этот адрес, и домашний — тоже, не пиши, видимо, я уеду к Натке.

Почему ты так мало пишешь о себе — что делаешь, с кем дружишь, чем дышишь? Возьми пример с меня: я написала столько, что хватит на целую книгу, а вот о тебе я ничего не знаю, для меня твоя жизнь точно в тумане. Тебя же скоро должны забрать в армию, а ты молчишь.

Твои письма я получаю решительно все. Они меня находят, где бы я ни была, так что хвала моим штатным и нештатным почтальонам.

Есть ли у тебя братья, сёстры? Сколько лет твоим отцу и матери? На каком этаже ты живёшь и как найти тебя, если идти с автовокзала?

Что ты скажешь своей маме, если она спросит, кто я и зачем приехала? Где я буду спать и сколько у вас комнат? Есть ли у тебя девушка там, в Ростове? Почему ты до сих пор не прислал мне свою фотографию — не считаешь нужным, да?

Вот видишь, я задала тебе кучу вопросов. Отвечай же на них, пиши мне много — я всё хочу знать.

Конверт я сразу заклеиваю — если прочту письмо утром, могу счесть глупым и уничтожить. Утром и вечером я очень разная и сама не знаю точно, когда поступаю правильно, а когда нет. В одном лишь уверена: утром я никогда не делаю то, что вечером, и наоборот.

Когда у меня будет постоянный адрес, я дам тебе телеграмму, и ты пришлёшь мне письмо на десяти листах, хорошо? А пока не пиши, отдохни от моих вопросов.

Мама все ещё не приехала, а день рождения у меня десятого апреля.

До свиданья. Целую, Лариска.

1

Новошахтинск занесён снегом, а Ларки нет. Везде скучно, пустынно, прямо глухомань какая-то. На нашей улице сплошной сугроб, только верхушки заборов торчат да узенькая тропка змейкой вьётся меж голубовато-жёлтых в свете фонаря снеговых бугров. Закаменели, застыли клёны и ясени на крещенских морозах.

Хоккей — зимняя страсть Андрюшки. Хоккеист он мелкий, но шустрый и ловкий. Полдня я ждал его с катка. Напрасно. В густых сумерках через сугробы я побрёл на стадион.

Несколько рядов фонарей чертили небо над тусклым льдом катка. В серой, морозной дымке открытой арены писали узоры закованные в доспехи парни, среди них трудно было найти Андрюшку. Потом я узнал его. К тому, как сражался на льду Андрюшка, очень подходит слово «ярость». Его, Андрюшкина, ярость — неистовая и беззаветная, но по-детски прямая и бесхитростная. По ней я узнал его.

Я подкараулил его у раздевалки. С красными от душа лицами гурьбой выходили хоккеисты. Вокруг болельщики. Смех, шутки, возбуждённые голоса. Сегодня команда выиграла. В Новошахтинске болеют за свои футбольную и хоккейную команды так, как в Москве не болеют за «Спартак». Даже за юношей. А всего-то — первенство области...

Я потянул Андрюшку за рукав.

— Вовка! — удивился он. — Ты чё здесь делаешь?

— Смотрел хоккей.

— Ну, как мы их причесали?

— Нормально.

— Обижаешь...

— Ну-ну...

— Идём домой.

Центральная улица накатана не хуже катка. В заиндевелых ветвях деревьев торчат яркие одноглазые «кобры». Народ расходится кучками, быстро исчезает, и снова улица тиха и пустынна.

— Ларку видел?

— Ларку? — Андрюшка остановился, сдвинул шапку на затылок. — Нет её.

— Как нет?

— Уехала.

— Куда?

— Говорят, учиться.

— Учиться? Она же собиралась в Ростов. После десятого, на художника-модельера.

— Не знаю. Ничего не знаю.

Рушились надежды, с грохотом катились куда-то осенние мечты. Что это? Предательство? Почему она уехала? Прошло полгода, а я ничего не знаю...

— Далеко она уехала?

— Кажется, в Луганскую область.

— Андрюха, ну вспомни что-нибудь!

— Что вспомнить?

— Когда ты её видел в последний раз?

— По-моему, летом.

— Я же уехал двадцать седьмого августа.

— Вот тогда я её и видел.

— И всё? — не поверил я.

— Она вроде уехала через три дня... Точно! Не больше, чем через три дня. К первому же сентября, учиться...

Андрюшка, как всегда, прав. Но всё равно странный и непонятный отъезд. Похожий на бегство. Но мы же договаривались, мы же хотели... Зачем куда-то ехать учиться, когда здесь, под боком, сколько хочешь институтов, техникумов, училищ?

— Андрей, узнай, если сможешь, её адрес. Подговори сестрёнку, спроси подруг, выкради, наконец... Мне очень нужен её адрес, поверь...

— Лады...

Поднимался, упружился ветер. Выпускала белые языки позёмка, лизала подворотни, деревья, ноги редких прохожих. Нервами звенели провода. Сыпался за поднятые воротники мелкий, колючий снег. Казалось, душа замёрзла...

Лишь много позже я узнал: ехала туда какая-то её подруга, у которой в Кадиевке были родственники. Она расхвалила училище, предложила ехать вместе, и Ларка согласилась. Что погнало её туда, она не сказала, ответив на мой вопрос коротко и не совсем убедительно: «Да так, собралась и поехала. Надоело дома с родителями сидеть...»

Мы стояли перед сугробом нашей улицы и молчали. Андрюшка понимал моё состояние, давал мне время одуматься, прийти в себя. Всё было похоже на неправду.

— Знаешь, я, кажется, Мишку Буркова встретил, — сказал я. — С девицей какой-то под ручку. Не уверен, может, ошибся, но, по-моему, это он. И девица с ним путёвая.

— Чернявая такая? В белой меховой шапке?

— Ага.

— Точно они. Лидка Ирхина это. Законная супруга — женился Мишка.

— Уже успел? Куда торопится?

— Как же не заторопишься? Пузо у Лидки видел?

— Да нет вроде.

— Из-за пальто не видно. Нагуляли пузо, а ему в этом году в армию.

Может, малюсенькое облегчение, но я почувствовал. Да ну их, всех этих претендентов, — явных и косвенных...

— Он доволен?

— А кто его знает?

Андрюшка замолчал, втянул голову в воротник. Да и мне больше спрашивать было не о чем. Странно как-то, словно все мы тут и не друзья уже...

2

И снова всю зиму я ждал её письма, ждал известий о ней от Андрюшки, и скоро уже не понимал, почему я жду. Нет, не хотел я верить, что смогла она забыть всё наше с ней, отбросить его в сторону, как ненужный хлам. Значит, были причины её молчанию, видно, что-то новое и, наверное, очень важное занимало её, если она ничего не писала, не сообщала о себе. Время шло, и ожидание моё таяло, становилось всё меньше и меньше, но почему-то не проходило совсем, и я только слабо психовал на Андрюшку — опять подвёл!

Письмо пришло в марте. Оно взбудоражило и разочаровало меня, вогнало в уныние. Причин не было. Вернее, была, но такая пустяковая.

Я ждал от неё тепла, откровенности, нежности, тоски — чего угодно, что могло бы подтвердить, внушить мне: она скучает, грустит, она чувствует то же, что и я. Но письмо оказалось лёгким, пространным и даже весёленьким.

Зачем мне такое письмо? Как могла потерять мой адрес? Нужен ли он ей вообще, если плохо берегла? Или пришла пора заканчивать, ещё не начав? —Вопросы, вопросы, вопросы. Они сыпались тяжелыми градинами на голову, и негде было от них укрыться.

Долго не решался ответить. В марте кричали галки в голых ветвях деревьев, моросил тёплый дождь, наполнял город бесконечной сыростью. Я бегал в техникум и всё время думал о её письме. Думал в троллейбусе, на занятиях, в курилке — повсюду, и ничего не мог решить. Обида вела меня к ответу ей.

Потом всё-таки написал. Плохо. Как-то безразлично-хвастливо, без чувства, без сердца. Но надо же было дать понять ей, что прежние встречи и меня теперь нисколько не волнуют и всякая сентиментальная чепуха вовсе не в моей натуре, а сам я уже очень хорошо знаю эту паршивую штучку — любовь, и, не теряясь, бегу вперёд по времени, набираю опыт, и жизнью своей вполне доволен.

Пусть же и она почувствует моё письмо!

И подумает под дрогнувшее сердце и щемящую душу.

Я заполнил листы бумаги длинными рассуждениями о жизни, отношениях между парнями и девушками, о человеческих характерах, лицемерии и достоинствах, и, наверное, вывернул всё наизнанку. Писал я уверенно, словно брал всё из собственного опыта. Возможно, я выглядел циником, но нужно же было ещё и ошарашить её.

Я понимал, это глупо, но продолжал писать. О себе — почти ничего. А зачем? Лучше уж так: отвлечённо, но с вывертом, бесцеремонностью, до лампочкиного света и чуть ли не с перечислением побеждённых и победителей. Или — ни о чём. И слова почему-то ложились такие: колючие, резкие и, может быть, даже жестокие.

Если честно, я не хотел писать так, знал — это чужое, не моё письмо, но ничего поделать с собой не мог. Мне было больно и не хотелось ничего.

Отослал письмо. Всё! Ответа не будет, «любовь растаяла в тумане льдинкою». Надо чувствовать себя мужчиною, который умеет справиться со своими страстями, и поступить правильно. Я был уверен, что поступил именно так. Где-то в глубине души всё же подступала горечь сожаления, я гнал её прочь, старался не думать больше ни о Ларке, ни о её прошлых и будущих письмах.

И вдруг, как снег в апреле, — второе письмо. Весёлое, дружеское, словно не писал я колкостей, не пытался задеть её! Да как же так?!

И от этого тоже было больно... Я даже сомневался: получила ли она мой ответ? Письмо мне не нравилось. Коротенькое, дополненное «крокодильскими» анекдотами «Улыбки всех широт», и — снова ни о чём. Словно и не случилось ничего, и нечего создавать драмы, ей просто скучно, и потому — на, читай анекдоты! А мне хотелось знать точно: да или нет? И ещё немножко: почему? Я быстренько накатал ответ в духе второго её письма и, хотя на душе у меня «скребли кошки», отправил, не перечитывая. Вопросов больше я не задавал.

Чего я ждал? Что она сама расскажет, объяснит, предложит? Нет, наверное. Но ведь должна же она что-то сказать. Сколько не писала... И всё так круто повернулось.

Может, это было глупо, может, смахивало на малодушие, не знаю. Но я стоял на своём. Ответ ушёл, и только тут я внезапно понял: все мои самовнушения о Ларке пустые, как мыльный пузырь, выкинуть её из моего сердца уже не так просто и пока невозможно. Письма её уже задевали моё самолюбие.

Я всё понял. Да сказать бы об этом вслух меня не заставили бы и под пистолетом...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

20 января

20 час. 15 мин

Сегодня утром я отправила тебе письмо, а вечером пишу опять. Мне очень тоскливо, хочется видеть тебя, но тебя нет. Было бы между нами хотя бы сто, двести километров, я приехала бы, не задумываясь, но... Опять это проклятое «но»! На улице совсем тепло, тает снег, пахнет чем-то весенним, лёгким, а мне грустно...

Мне приснился сон: я приехала к тебе, мы сидим в каких-то подсолнухах, и с нами — ваша соседка, ей лет восемнадцать, похожа на цыганку. Я облокотились на твоё колено, вдруг приходит твоя мать и говорит так зло, даже мурашки по коже побежали: так, мол, сидят одни распутницы, и только бесстыжие так поступают. Тогда я стала говорить ей, что её не должно трогать, как я сижу и что делаю. Она обозвала меня дрянью, велела тебе идти домой. Ты встал и ушёл, а ваша соседка сказала, что твоя мать очень вредная и ты её боишься. Знаю, приснилась какая-то чушь, но меня почему-то преследует мысль — ты её на самом деле боишься. Так ли это?

Прошу тебя, пиши больше о себе — я хочу знать всё, решительно всё! Подожди, может, я тебе надоедаю, мои письма кажутся тебе глупыми и бестактными, да и вообще все они тебе ни к чему? Не отбываешь ли ты повинность, когда пишешь мне ответы? Ну, отвечай же! Я хочу это слышать сейчас же, а не через целых шесть суток, у которых есть шесть дней и шесть ночей, а между ними ещё утро и вечер, и всё это надо суметь прождать. Да как это сделать? Особенно если сидишь целый

день дома, точно в тюрьме, и живёшь лишь от утра до вечера, считая не только часы, но и минуты. Я хочу слышать твой голос, а не читать твои буквы.

Володя, я тебя совершенно не помню в лицо! Да, я окончательно тебя забыла! Остались какие-то смутные черты, и всё. Слышишь? Всё!

У меня хватает энергии в один присест настрочить тебе десяток листов, и что же в ответ? Только скудные разъяснения моих вопросов — они вечно вьются вокруг моей практики и твоей учёбы. Ты что, мил человек, ничего не хочешь знать, кроме «наших трудов», никуда не ходишь, тебя не интересуют музыка, концерты и всё такое, что непременно должно бы интересовать? Ты только «грызёшь» науки и стараешься поскорее стать солидным человеком, да? Я знаю, чувствую — это не так, но ты же молчишь!

А вдруг всё же это так? Тогда разреши мне послать подальше всех твоих друзей и подруг за то, что не смогли они сделать из тебя нашего парня — человека второй половины двадцатого века, который ко всему проявляет живейший интерес, оставаясь хладнокровным, ведёт себя смело и уверенно, опираясь на собственные понятия и совесть, а не на мнение окружающих.

Иногда ты бываешь смелым и решительным, жаль лишь, что только в письмах. Где же эти качества были раньше? Ждали моего толчка? Ты боялся, я плохо о тебе подумаю, да?

Мне вот лично всё равно, что ты сейчас обо мне думаешь. Думай, что хочешь, и как нравится!

Так-то, мой мальчик! Ты сам виноват, если у меня сложилось неверное мнение о тебе. В письмах нужно стараться хоть немного раскрыть свой характер, а не заполнять их формальностями и условностями.

Жила когда-то наивная и глупенькая девчонка, она не знала почти ничего, кроме маминой юбки да её нравоучений. Была бы она прилежной и скромной до сих пор, если бы не уехала на два года. Сидела бы дома, сосала бы палец и была бы довольной, как слон. Но за эти годы она узнала столько — дома ей понадобилось бы на это десять лет.

Там её надежно прикрывали от всего, что не положено ей знать и видеть. А теперь? Теперь она делает всё, что хочет, ходит, куда нравится, и всё такое. Но самое главное, она знает, что отвечать за каждый свой шаг, уважать или презирать людей, понимать мир вокруг себя ей приходится теперь только самой и только самой за себя решать.

По радио передают «Онегина». Нас всегда заставляли говорить, что Онегин отрицательный герой, а Татьяна — гений добродетели, откуда ни посмотри. Прививали свои мысли, как оспу. Вдалбливали, точно законы физики. Упаси Бог, если скажешь иначе! Катастрофа! Лучше молчи, если имеешь всё-таки собственное мнение. Что это за мнение? Оно всего лишь твоё, а не общепринятое, построенное на твоих (а кто ты?) скромных и довольно сомнительных знаниях. Всё должно быть одинаково стандартно!

Но взять Татьяну? Что толку от её жертвы собой? Кому это нужно? Кому она доказали? Себе и только себе! Порядочность, разговоры! Муж-старик! «Но я другому отдана; Я буду век ему верна». Зачем? «Любви все возрасты покорны»? Так пусть сидит он со своей любовью, если она у него проклюнулась, а молодая, красивая жена не только дополнительная экипировка к орденам и бантам, на тёплой печке и плетёт кружева! И нечего совать молодость в клетку! Если он на самом деле честный и благородный! Но его-то ещё понять можно, а вот Таню — не-ет!

Увы, в жизни бывает всякое, и многое потом изменить нельзя.

Володя, извини меня, что-то я сегодня совсем сумасшедшая! Взялась зачем-то

за Евгения и его Таню. Сейчас очнулась, думаю, всё это вздор, глупость, а на тебя я незаслуженно накричала. Начала хорошо, кончила плохо, верно?

Вот так сидишь, сидишь, потом начнёшь писать письмо, настрочишь пачку листов, а когда очухаешься, задашь себе вопрос: «Зачем всё это?» Письмо порвёшь или отложишь. Если тебе их все отослать, ты схватишься за голову — читать надо будет целый месяц.

Чего-то хочется моей неспокойной душе. Ты не удивляйся, что я кидаюсь в крайности, может, даже причинила тебе неприятное своими манерами, грубостью и занудством. Это не грубость и не занудство, это невысказанные ясно потребности и откровенная тоска по встрече с тобой. Часто и среди массы друзей бывает пустынно, если не хватает одного-единственного человека.

Пока всё.

До свиданья.

Целую, Лариска.

1.

Середина июня.

Неожиданно — телеграмма: «Шестнадцатого буду проездом поезд 152 приходи Лариса».

И больше ничего.

Я позвонил в справочную вокзала — поезд 152 приходит в двадцать-двадцать на третий путь. Так, ну это ясно, только вот куда она едет и в каком вагоне — загадки.

Девятый час вечера. Вовсю ещё полыхает жаркий и длинный летний день. На платформе тесно, лениво-неподвижно. С какой стороны встречать? Лучше с хвоста — поезд пройдёт мимо, и, может, увижу её. Или — она меня.

Пронзительный женский голос проверещал прибытие поезда № 152. Толпа засуетилась, точно узнала что-то невероятное. Люди задвигались, поплыли чемоданы, узлы, букеты цветов.

Из-за поворота показался красный электровоз, скрипят тормоза, мимо постукивают зелёные вагоны. Я увидел её! Лариса стояла у открытой двери тамбура рядом с проводницей и махала мне рукой. Шестой вагон!

Почему-то налились свинцом, стали подкашиваться ноги. Всё вокруг нереально, словно происходит с кем-то другим, а я стою в стороне, смотрю и жду: чем же это всё кончится?

Она переменилась — это бьёт в глаза! Но в чём перемены?

Не поймёшь...

«Чего разнервничался?» — насмехаюсь над собой, хотя прекрасно знаю «чего», и кисло улыбаюсь. Медленно побрёл вдогонку шестому вагону.

Поезд протянул ещё немного и стал. Из её вагона на платформу сыплются молодые девчонки. Лариса уже бежит навстречу.

Не дойдя друг до друга двух метров, мы замерли, точно какой-то джин воздвиг между нами прозрачную стену.

— Ну, здравствуй! — Лариса подала руку. Почему так дрожит её голос?

Я взял её ладонь, ответил вяло:

— Здравствуй.

— Думала, не придешь... — Она улыбается приветливо, тянется ко мне взглядом чёрных глаз. — Тебе сейчас, наверное, не до старых подружек!

Эта улыбка! Я узнал в ней Ларку, и все сомнения отлетели прочь.

— Было бы не до них, не пришёл бы! Но, как видишь...

— Володя, я рада, что ты пришёл! Честное слово, это хорошо, что я опять вижу тебя, даже не верю... — Она говорила быстро, взгляд прямой, точно в сердце.

— Куда ты едешь?

— Разве я не писала? В Геленджик, на практику. Будем работать куда пошлют: в столовых, кафе, а в свободное время — бегать на море и загорать.

— Хорошо тебе... — для чего-то вздохнул я.

— Да, неплохо. Я напишу из Геленджика. Если прилично устроюсь, позову тебя. Приедешь хоть на пару деньков?

— Не знаю. — Её предложение остро кольнуло сердце. — Нас собираются загнать в стройотряд.

— Жаль, — огорчилась она. — Ну, может, как-нибудь?..

— Может, как-нибудь. Ты позови...

Теперь я понял, в чём она изменилась за этот год. Нет, не то чтобы сильно повзрослела, — держалась она как-то по-другому и говорила иначе: уверенно, свободно, словно сбросила с себя что-то тесное и неудобное, и ей стало легче. Голос у неё и взгляд человека, знающего себе цену. И свои возможности. Теперь уж она никогда не станет прятать дыхание, слушая меня, — у неё есть своё, твёрдое и надёжное, она сама разбирается во всяких там людях и поворотах в жизни — это прямо брызжет из неё, а то, что когда-то было интересно, теперь хорошо известно.

Надо сказать, её уверенность ошарашила меня, точно ступил я на что-то с виду надёжное и прочное, а оно вдруг обернулось трясиной, и я никак не мог прийти в себя от такой ошарашенности.

Но лицо, руки, улыбка такие знакомые, и я снова почувствовал нереальность происходящего: вот он, стоит передо мной незнакомо-знакомый человек, а я всё никак не могу разобраться: чего же в нём больше? Будто пришёл я в мае на речку в первый раз купаться и гонит жара в воду, уже разделся, готов, да всё не решусь, осторожничаю — вода-то, должно быть, холодная…

Десять минут стоянки поезда для нас в тот день оказались мгновением. Электровоз пронзительно засвистел, забеспокоился женский голос в вокзальном злодее-репродукторе. Лариса вдруг быстро обняла меня и поцеловала в губы, задерживая, растягивая этот наш первый поцелуй, словно глоток живительной влаги в пустыне наших отношений. Не знаю, как мои руки оказались на её талии, но, кажется, я отвечал...

Лариса побежала к подножке вагона. Поцелуй горел у меня на губах, хотелось что-то крикнуть вдогонку, удержать, но слова почему-то застряли в горле, голос внезапно охрип; поезд, между тем, сдёрнулся с места, поплыл вдоль перрона, и Лариса опять мне махала рукой с площадки тамбура.

Я поднял голову. Мимо подрагивало вагонное окно. Девичьи головки, сплющив носы, таращились на меня, проткнув любопытством мутное стекло. Всё видели! «Рассматривают, как барана на базаре!» — с досадой подумал я, глядя на девчонок. Что, так интересно, неужели никогда не видели? Я почти ненавидел эти завитые головки.

Поезд громыхал, набирал скорость. Я стоял на перроне, тоскливо смотрел на прыгающий на стыках последний вагон, его красные огни. Улёгшуюся было душу вновь всколыхнула нежданная встреча. Она пронеслась, как летний сон, с дорогой, желанным поцелуем и чужим любопытством. Поцелуй! Может, и родился он только для них, этих любимых, дорогих подружек? Вот мы, мол, какие; даже проездом успеваем, на всех станциях у нас порядок! Ведь не решалась же раньше никогда, наверное, избегала даже, а сейчас...

Вагон, скользнув под мост красным фонарем, исчез. Через несколько дней теперь придёт письмо. Как бы вырваться к ней, поговорить бы с этими подружками...

Я пошёл домой.

Письмо не пришло. Пролетело лето, а его все не было. Я даже не знал, где она. Это было неприятно, но я уже сумел привыкнуть к её молчанию, как привыкают к чему-то неудобному, тяжкому, но необходимому или неизбежному. Эта привычка

приносила боль, как нерасхоженная обувь, и я расхаживал свою боль, как обувь. Да и сам научился молчать. Мало ли какие увлечения бывают в детстве? Почему бы не вспомнить, не вернуться на час? Вроде, как — зимой подкралась печаль по летней Ялте и ты вздохнул, задумался и — снова за дела, заботы, привычки, для тебя важные и, главное, — сегодняшние...

И всё же иногда душу тихонечко колола обида.

Письмо прислал Андрюшка. В августе он видел Ларису в Новошахтинске. Она шла на вокзал «с чемоданом и родителями», наверное, собиралась уезжать и с ним «даже не поздоровалась», видно, не заметила.

Странно. Не заметить белобрысые Андрюшкины вихры, проходя мимо! Или постаралась не заметить? Должна же была хоть пару слов сказать, кивнуть хотя бы! Они же хорошие старые друзья! Здесь снова было что-то не то, и мои мрачные предположения начинали перерастать во вполне определённые выводы...

2

Сразу после экзаменов я уехал в стройотряд. Работали в отдалённом совхозе. Рядом со старым, вросшим в землю, глинобитным и кособоким, строился новый хутор — просторные, благоустроенные двухквартирные дома.

По ночам на хуторской площади кричали — выясняли что-то своё — косяки гусей, лунная дорожка бежала через широкий пруд к нашему общежитию — будущему детскому саду. Днём мы работали на стройке и, наверное, только здесь впервые по-настоящему поняли, что такое вкалывать до седьмого пота. Мы обветрились, загорели, руки сделались шершавыми от цемента, покрылись мозолями. Вечером в столовой молотили всё подряд, набивали животы и не наедались...

Хуторок всего-то дворов на тридцать, нас приметили сразу по пёстрой одежде, ковбойским шляпам и фальшивому иностранному акценту, очень скоро и мы знали всех хуторян.

Вечерами население собиралось в клубе — бывшей чьей-то хатке, длинной, как вагон, с камышовой крышей, подслеповатыми окошками и маленькой дощатой сценой у одной стены единственной комнаты. Наверное, в таких хатках проходили колхозные собрания ещё при коллективизации.

Пулеметно стрекотал аппарат кинопередвижки, кидал на потёртый экран цветным пучком света Галахвастова-Борисова — в пятый раз за последний месяц. Внезапно аппарат смолкал — кончалась лента, — и публика валила во двор менять спёртый воздух клуба на табачный дым, а киномеханик Вася, не суетясь, полный особой значимости здесь своей персоны, перезаряжал плёнку.

Утыканное голубыми дырочками света, висело над хутором тёмно-лиловое полотно неба, укрывало камышовые крыши, вишнёвые и жердёльные садики, прятало саманные стены за покосившимися плетнями, паковало тишину — разве только, брехнёт где от скуки собака да обронит кто нечаянно громкое слово.

Аппаратная дробь выпрыгивала в открытую форточку, народ спешно тушил цигарки, топотел досматривать картину, а пацаны тем временем тихонько курочили старенький Васин «Ковровец», на котором он привозил фильмы из центральной усадьбы.

Было что-то неторопливо уютное в жизни этого хутора, устроенное веками, с трудом представлялась здешняя зимняя глухомань, квашеная осенняя бездорожь. И мы понимали: за этой ретроэкзотикой лежит жизнь тяжёлая и малорадостная, с угарными печками, стылыми уборными и долгой дорогой к врачу или в магазин. Нужен, очень нужен этим людям новый хутор с хорошими домами, клубом, магазином, амбулаторией, и от сознания этой нужности вырастала и наша собственная нужность в их глазах.

И всё-таки хутор бедствовал, и, кажется, безвозвратно, непоправимо. Не было в хуторе молодёжи. Только трое нашего возраста приходили в клуб: девушка по имени Варя — здоровая, краснощёкая, словно это с неё рисовали доярку на плакат «Молодёжь — на ферму!», да два её ухажёра — гармонист Витюня и мотоциклист Петюня.

И Витюня, и Петюня сразу слились в мотоциклетно-гармонистскую коалицию и при первой же встрече глянули на нас волками. Точно приехали мы сватать у них единственную на хуторе невесту. Потом ничего — поняли и даже подружились.

Вот поэтому никто, кроме, наверное, районного начальства, не верил, что новая улица спасёт хутор...

3

За прудом на взгорке вагончик геодезистов.

Четыре железных колеса на резиновых шинах, зелёный домик на две половины: в одной «сам Гебо» — Георгий Борисович да шофёр «рафика», если оставался ночевать, в другой — практикантки из университета: две хохотушки, похожие, как близнята, Галка и Вера, и третья — Клара, девушка тихая, спокойная — синий взгляд из-под длинных льняных волос-локонов тянется недоверчиво, щупает незнакомца, вроде как сомневается. «Сам Гебо» выглядит солидным дядей, голос — тёмный бархат, голова лысым чурбанчиком, бородка — веником, и вежливость, вежливость, вежливость. Он или добряк, или зануда.

С крыши домика, на которую мы прибивали шифер, хорошо видны геодезисты: Галя и Вера — жёлтый и красный купальники — носятся туда-сюда, ставят рейку. Гебо в старой соломенной шляпе склонился над теодолитом, Клара — рядом, в лёгком бело-голубом платьице, пишет что-то в большую амбарную книгу. Бесстыжий степной ветерок облизывает Кларино платьице, отчего её набравшая формы фигура просматривается заманчивее, чем те — в купальниках.

Вечером девчонки пожаловали в кино, и мы не минули случая прицепиться. Наговорили кучу прелестей про нашу весёлую жизнь, замешали их на небылицах, поперчили секретами, украсили живыми именами, и получилось — во! Девчонки сначала доверчиво разинули рты, а потом долго смеялись.

Назавтра они пришли к нам на спортивную площадку за хутор поиграть в волейбол, и мы уже чувствовали себя друзьями. В нашей команде добавились игроки: два темперамента и одно спокойствие. Темпераменты визжали, отчаянно кидались на мяч и громко, до слёз, страдали, если удар не удавался. Спокойствие и тут оставалось спокойствием — Клара принимала мяч серьёзно, сосредоточенно, словно горячую сковороду с праздничным пирогом, и только печально подсинивала взглядом траву под ногами, если тот летел мимо.

Такие девчонки не могут не нравиться, да ещё и обстановка требовала, и в один из вечеров, после очередной Васиной порции «Двух зайцев», у них обнаружились провожатые.

Нас — трое, их — трое, дорогу почему-то выбрали не ближнюю — через греблю, а вокруг длиннющего пруда: тропкой, тропкой, через одуванчики, спорыш и подорожники склонов балки.

Ночь, как в песне, — «хоть выколи глаза», только без криков попугаев, но даже привычных звёзд не видно, небо тяжёлое, плотное, его можно ткнуть кулаком, как деревенскую подушку. Парко пахнет ещё не свалившимся дождём.

Как-то незаметно — получилось — разделились мы: хохотушки и двое наших вперёд утопали, заблудились в липкой темени, мы с Кларой подотстали, медленно вышагиваем сзади.

Клара всё молчит, и я помалкиваю, хоть и стараюсь придумать какой-нибудь разговор.

— Клара, вы ещё долго на практике?

— Ой, не знаю. Долго ещё, наверно...

— Так «не знаю» или «долго»?

— Не знаю, долго...

Я засмеялся.

— А ничего смешного, — Клара спокойненько. — Не знаю, потому что знать не могу, когда работу закончим. Конец работы — конец практики.

— А-а, вон оно что.

— А вы как думали?

И снова молчим, только шуршит трава под ногами.

Что ещё спросить? — «Клара, сколько тебе лет?» — Какая разница, видно, что молодая. — «На каком курсе учишься?» — Знаю. — «Есть ли у тебя папа и мама?» — До фени мне... — «Откуда родом?» — Не из Америки же?.. Такую фигуру лучше обнимать. Положить руку на плечо, ну будто бы нечаянно...

— И зачем это вам?.. — деланно удивилась Клара, повела пухлым подбородком в сторону моей руки.

— А ты мне нравишься, Клара! — Я подгибаю руку в локте, легонько прижимаю Клару, прижимаю...

— Ха-ха! — коротко и спокойненько просмеялась Клара. — И чего это вам хочется про это говорить?

— Хочется, и всё... — Мне уже становится весело от её нелепых вопросов.

— Все вы так!.. — неожиданно, с претензией на опытность, подытоживает Клара.

Мы перебираемся через узкий ручей меж стенок камыша — начало пруда, — поднимаемся на взгорок, и снова трава хватает за ноги — мягкая, шёлковистая.

— Клара...

Она не даст мне докончить, я чувствую её руки у себя на шее, ощущаю её тело, ловлю мягкие, пухлые губы. Поцелуй долгий-долгий, вкусно пахнет жареным луком, и — сразу же, не разжимая рук, Клара обмякла, повисая, жадно потянула меня вниз... Это уже была совсем другая Клара...

Назад я бежал под утро, подгоняемый близкими сполохами и первыми тяжёлыми каплями дождя.

4

Весь следующий день никто в хуторе не смотрел мне в глаза, потому что я не поднимал своих: мне казалось, все догадываются, знают, понимают и не может быть того, чтобы хоть кто-то не проткнул взглядом вчерашнюю запрудовую темень.

Целый день меня преследовал пьяный запах Клариных волос, её крепкое тело пружинило в моих пальцах, а губы — всё целовали меня, и мне было страшно понимать, что всё это случилось так легко и просто, даже слов никаких не потребовалось, и вся эта Кларина обычная спокойная меланхолия от чего-то другого, пока непонятного мне. И ещё я испытывал неясное чувство, похожее на стыд, — будто нашкодил где-то и прятался теперь, оно было подсолено разочарованием в том, что вроде бы не должно было случиться всего лишь на второй день знакомства, да ещё с такой уравновешенной девушкой, как Клара. Я представлял встречу с ней в городе и уже спешил дать себе клятву: нет, никогда больше!

Эта ночь преследовала меня, я чувствовал себя мужчиной, но понимал: нет всё же у нас с Кларой чего-то такого, очень нужного и тесного, чтоб сердце стучало от тихого слова, как после спринтерской гонки!

Всё мешалось и путалось у меня в голове: нравилось до захватывания духа и отвращало до вжатия в самого себя. Всё было очень похоже на пьянку с похмельем, и

я только мог успокаивать себя: нет, не пойду больше, хватит — точно так же пьяница клянётся бросить пить.

Может быть, со стороны я выглядел чуточку чокнутым, не знаю, — занятый своими новыми, колющими душу мыслями, я не замечал ничего вокруг.

Или я просто боялся, потому что не привык ещё видеть в девушке женщину, и всё это таким образом укладывалось во мне; только вечером, как индеец на тропу войны, я снова тайно ступил на дорогу через греблю — за пруд...

Потом пришло и завтра и послезавтра, и ещё несколько ночей, только волнений наутро каждый раз становилось всё меньше и меньше, лишь накатывалась какая-то лёгкая, пьянящая усталость. Я переставал удивляться.

В один прекрасный день мы вернулись на стройплощадку с обеда и не увидели привычного вагончика за прудом. Исчез он вместе с обитателями. И она почему-то не прибежала, не сообщила, что уезжает, не спросила, как быть дальше, и даже не простилась. Всё спокойненько...

Надо признаться, я вздохнул с облегчением...

И вот тут-то я почему-то вспомнил Ларку, и неожиданная ярость сдавила мне горло — это потому, что я подумал: может, и у неё вот так где-то?! Впрочем, остыть постарался быстро — какое я имел право впадать в ярость по этому поводу? Я запретил себе думать о ней. Только вот не прикажешь душе не болеть...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

13 февраля *г. Новошахтинск*

Добрый день!

Володя, письма твои пришли ещё позавчера, но я только что приехала из Краснодона, потому ответ немного задержала, извини.

Честно говоря, я дала себе слово больше не только не писать тебе, но даже не вспоминать о нашей переписке. О причине ты мог бы догадаться сам: это действительно обидно — ничего не получить в ответ на четыре своих письма. Но вот появилась весточка от тебя, и я, глупая, снова берусь за ручку.

Сразу хочу сообщить об изменениях в своей внешности: я отрезала баки и чёлку, проколола уши — теперь ношу серьги.

Дома, возможно, я пробуду до шестнадцатого числа — всё зависит от решения директора училища, с ним отец заказал переговоры. Он должен дать мне новое направление, но есть шанс на его согласие оставить меня дома — без практики — до десятого июня. Иначе снова придется ехать в Кадиевку. Пока ничего не известно. Моё будущее на этот год туманно и расплывчато, я сама не знаю, где окажусь завтра.

Ты пишешь, что одно из четырёх моих писем тебе не понравилось. Я догадываюсь которое, но мне хотелось бы знать — почему? Или нет, не надо. Я прекрасно знаю, что, где и когда не так. Вот видишь, чуть не слицемерила!

Ты уверен, что идеальных (в моём понятии) парней нет, а если и есть где, только не в нашем кругу. Неправда!

Может, тебе это покажется странным, но для меня огромное большинство парней делится на две группы: чересчур разболтанных и слишком разносторонне отшлифованных, уравновешенных, то есть «идеальных» в моём понятии.

Первые приглашают в кафе или ресторан, предлагают сигареты, любят делать пустяковые подарки, говорят глупости, извиняются, но почти всегда прячут за всем этим какие-то собственные выгоды. Вторые водят только на серьёзные фильмы, концерты, много рассуждают, никогда не грубят и не извиняются, потому что не говорят и не делают глупостей, и, пожалуй, не скрывают своих намерений. Этих — вторых — всё же не половина, их, видимо, больше. Но я не ошибусь, если скажу,

что они продолжили бы титанический труд моих родителей — воспитывали бы меня напропалую. «Этого нельзя... Пожалуйста, не делай так. Это нехорошо... Не говори глупостей!..»

Я с трудом переношу и первых, и вторых, — мне кажется, здесь должна быть какая-то середина, встречается она, наверное, очень редко. Вот эту-то середину я часто ищу в тебе и — слава Богу! — иногда вижу.

Ты удивляешься: в чём заключается строгость родителей? Да хотя бы в том, что они желают всё знать! Я не хотела тебе писать об этом, но теперь напишу.

Приезжаю, мама подаёт мне твои письма. Отец сидит рядом, спрашивает в пространство: «От кого?» Мама отвечает: «Не знаю». Я отлично вижу, она знает, от кого, и, если бы не её деликатность, с интересом прочла бы их. Я, молча, ухожу к себе. Через минуту приходит отец с вопросом: «Что он пишет?» Я встаю, иду к сестре, он за мной, на ходу произнося речь о том, что они мои родители (для меня — новость!), они мне плохого не хотят, о чём это можно написать в двух конвертах и так далее. Заканчивается всё «блестящим» предложением: «Давай я напишу ему ответ!» Они, видимо, совсем мало знают о нашей переписке и хотят сразу решительно вмешаться.

С тобой такое бывает?

Дома я должна делать только то, что нравится соседям, знакомым, родственникам, — упаси Бог, если обо мне они подумают плохо! Мои желания — ноль без палочки! А потому всё под жёсткий контроль! Как тебе такая опёка?

Ты как-то писал о девчонках, «издали» они тебе нравятся, и таких много, но вот «ближе» тебе в них чего-то не хватает и потому ты долго не можешь быть ни с кем... А ты подумал, что так же может быть и со мной? Что, если так будет? Что тогда? Всему конец? Зачем же тогда вся эта переписка, встречи, которые были и которые, надеюсь, ещё будут, трата времени, нервов? И как же узнать это «что-то»? Ведь ты же сам не знаешь! Остаётся лишь надеяться, что оно во мне есть или хотя бы появится.

Но, по-моему, ты просто влюбчив. Так? Ты влюбляешься издали, в образ, в полумечту, находишь живого человека, и у тебя всё проходит. Верно? Я ехала в Геленджик и думала об этом. Не сердись, если я ошиблась.

Не переживай напрасно — я правильно понимаю все твои письма и тебя в них. Мне всегда ясны не только твои слова, но и намёки.

Когда будешь писать мне в следующий раз, запри Сергея в ванной комнате, чтобы обеспечить себе возможность писать столько, сколько нужно мне, без его нетерпеливых понуканий. Кстати, его я совсем не помню. Кажется, он был подстрижен под «один см», у него чёрные волосы, и всё. Лица я его совсем не знаю...

Только что принесли письмо от моей тёти — она живёт в Ростове. Тётушка вздыхает, что не видела меня уже три года, и обижается на невнимательность к её особе. Это отлично! Если ещё продержусь дома, то поеду к ней. Делай выводы! Ехать, скорее всего, придётся в воскресенье, значит, в пятницу я дам тебе телеграмму. Надеюсь, она не станет поводом для неписания писем мне.

Сергею всё же от меня привет! До свиданья, Лариска.

До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки и слова,
Не грусти и не печаль бровей, —

Красные сани

В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

Что-то вспомнилось неожиданно. Хотя и не совсем подходит к сказанному, не удержалась, написала. Последнее стихотворение Сергея Есенина. Написано 27 декабря 1925 года. Было прочитано уже после его смерти 28 декабря 1925 года. Только за эти строки его уже можно назвать великим поэтом.

1

В октябре она всё же вспомнила обо мне — прислала письмо. Я прочитал его без особой радости, ответил без энтузиазма и веры в то, что оно что-либо изменит, принесёт новое. Ведь и раньше приходили её письма, редкие, как снег в апреле, падали на голову, сгорали, точно спичка в безветрие, оставляя лишь темноту, молчание и неизвестность. И, видно, мы оба уже привыкли к этому.

Но тут Лариса ответила сразу, и с этого её ответа, собственно, и началась наша переписка. Не знаю, что значила она сначала: то ли установившуюся наконец тягу друг к другу, то ли привычку, а может, просто потребность высказать кому-то свои мысли, но было что-то такое, что рождало новые и новые письма, полные иногда страстной тоски, иногда пустого бахвальства, они стали подмешиваться встречами, но до настоящего было ещё далеко.

Но тогда, читая её письма, я понимал: мы теперь уже не сможем обойтись без них, так должно быть и будет, и от этого понимания я успокаивался, точно купец, который успокаивается, ощупав свой карман и убедившись, что кошелёк на месте.

Всё было в этих первых письмах: и радость, и обиды, даже наступления на собственную душу, но сказать, что её письма ничего не значили для меня, — это слицемерить.

И всё-таки письма теплели, я не мог этого не заметить...

2

В нашем городе нет так называемого Старого города. Старый базар есть, а Старого города нет. Может, он слишком молод для этого — двести лет для городов не возраст, — может, потому, что так строился: новое громоздилось вперемежку со старым, а может, рельеф повлиял, река или просто не удосужилась чья-то мудрая голова наректи так какую-то часть, и потому нет Старого — и всё... Однако старые районы есть, и в них долго жила (живёт и сейчас, пожалуй) вся суть города, — они его лицо, сердце и даже слава Ростова-папы, которой он пользуется в стране уже много лет.

Мы с Сергеем выросли в одном из таких старых районов — Ленгородке — посёлков, в которых почти не бывает перемен.

По склону большого холма вниз, к речке, бегут узкие, неровные улицы, чёрканные такими же переулками (очень похожими, на первый взгляд, один на другой, но нам привычно разные), — они лучами огромной звезды сходятся (или, если хотите, расходятся) на бывшей базарной (обжорной) площади, где не так давно выставился в небо серой квадратной башней Дворец культуры железнодорожников или Лендворец.

Пожилые люди ещё помнят прежние названия улиц: Коцебу, Ящинская, Андреевская и другие; забываясь, зовут их по привычке, а мы, молодёжь местная, к таким названиям не приучены, но отлично знаем: если тётя Вера живёт на Андреевской, значит — на Республиканской. Улицы мощёны в основном булыжником, неровным и травянистым, некоторые тянутся вдоль склона холма в два уровня — половина ширины улицы выше, половина — ниже, — и если будешь всё время идти спуском, когда-нибудь обязательно попадёшь к Лендворцу.

Люд здесь прежде жил небогатый — рабочий, мастеровой, потому и революция

в городе делалась, можно сказать, тут — большинство улиц теперь переименованы в честь местных героев баррикад и революционеров. И сейчас народ проживает в основном тот же, жилища у него, как правило, те же — новостройки почему-то мало коснулись района: все жактовские домики да бывшие доходные дома в два-три этажа — в их массу, как дырочки в сыре, воткнулась негустая частная застройка.

Жактовский домик — это не совсем домик, скорее — общий дворик: внутри садик или пяток деревьев, по периметру — несколько жилых строений, одно-, двух-, реже трехэтажных, всевозможные железные лестницы, галереи, балконы и балкончики, лоджии, веранды, злыми шмелями гудят примусы, тянет тёплым керосиновым чадом и запахом свежего борща, разлапилось поперёк прохода бельё на верёвках, и люди — в домашних халатах, трико, а то и просто в трусах и майках — неспешно занимаются своими делами; торчит над тазиком со стиркой забигудёванная голова, разноголосые разговоры с балкона на балкон, а то и пронзительный до визга женский крик:

— Ви-ить-ка! Ты ч-чё, шалава, делае-ешь?! Я т-те сичас ухи оборву-у!

А в ответ вполне грамотный мальчишеский возглас:

— Шалава — женского рода!

Секундное замешательство, и не совсем уверенно:

— Ну, — шалай...

Как ни крути, всё здесь общее: праздники, пьяные или ревнивые скандалы, и туалет общий — во дворе. Ничего не спрячешь за цветными занавесками в маленьких окнах, за домашними джунглями на подоконниках.

ЖАКТ — это какое-то допотопное название будто бы жилищного управления с мало кому известной расшифровкой, потому никто из нас никогда над ним не задумывался, просто жакт, и всё, а дома — тоже с маленькой буквы: «жактовские». Управления давно нет, а название осталось.

Бывшие доходные дома тоже жактовские, но так их не зовут. Они больше похожи на дома, и квартиры в них получше, и удобств побольше, но жизнь уже несколько иная, ближе к по-настоящему городской: часто только «здрасте — до свиданья», как в подъезде шестиэтажки.

Язык в посёлке свой, особенный, и песни стеклись со всего города, некогда знаменитые, а теперь ещё не совсем забытые. То там, то сям хрипловато накручивает толстая самодельная пластинка Петра Лещенко или Вертинского, а вечерами под воротами одной из жактух в кругу «шпаны» какой-нибудь Генка шпарит сипатым голосом блатную песню под гитару. Ведь Генкин брат, Паня Клык, настоящий блатной, кочует через их дворик из тюрьмы в тюрьму. Генка им ужасно гордится, взахлёб рассказывает про его подвиги — о них должны знать все! — и обещает любому обидчику неминуемую встречу с братаном: «Ничё, скоро дома будет, он с тобой потрёкает!..» Слушатели ещё имеются, Генка своей усиленной причастностью к загадочному миру уже возвышается над ними, до изнеможения старается быть похожим на брата, даже о фиксе золотой говорит, в недалёком будущем, и пока выкладывается на гитаре:

Костюмчик серенький,
Колесики со скрипом...

И ещё — море зелени! Сады, садики, палисадники, скверы да и просто зелёные тоннели улиц: акации, клёны, каштаны, тополя. И время можно мерить по этому морю: опустились розовые апрельские облака абрикос и жердёл на жактовские дворики — полная весна пришла, напустила в воздух терпких, хмельных запахов. Забушевало зелёное море, запенилась молодая листва белой кипенью вишенника, развесила по дворам ароматы сирень, — май в городе. А вот уже украсилась белыми

и жёлтыми гроздьями акация, и дух пошёл по городу, нежный, сладкий; бьёт в голову, дурманит сердце радостью. И следом:

Вот уж тополь отцвёл,
Белым пухом осыпался с веток... —

лето на дворе. И так дальше и дальше, до самого унылого однообразия нашей неровной и странной зимы.

Но зимними вечерами лучами-улочками стекалась молодёжь к Лендворцу.

Одетая в серую штукатурку, с высокими ступеньками и колоннадой парадного входа, громада Лендворца бросает на площадь акварельные пятна широченных окон, мельтешит цветными тенями, и тянется сюда, спешит народ: цепочками, стайками — остро дырявят темноту огоньки сигарет, катится вниз по ступенькам переливистый девичий смех.

На первом этаже просторный вестибюль с дверями в большой кинозал и в крохотное кафе — утеху немногочисленной, но стойкой местной алкоты (стакан портвейна и пирожок с ливером), напротив кафе — в комнату охраны дворцового порядка — пункт милиции. Были ещё многочисленные помещения, но туда, за исключением туалета, редко ступала наша нога, потому я их пропускаю. И если сегодня не среда, не суббота, а тем более не воскресенье, то — есть, нет во дворце танцев или какого-то вечера отдыха — молодёжь кучкуется в вестибюле, ищет способы попасть в кино на последний сеанс, где можно и обнять девчонку, и покурить в кулак — ведь когда такой фильм, как «Пусть говорят», можно и в третий, и в пятый раз — просто послушать компанией новую тогда для нас звезду, испанца Рафаэля.

Но когда танцы или, там, какой-нибудь «посвящённый» или непосвящённый вечер отдыха молодёжи, жизнь круто перемещается вверх — на второй этаж, — там просторнейший зал с эстрадой и всякими необходимыми для музыкальных упражнений тела и души штучками вроде микрофона, освещения, оркестра и очень довольного своими шутками ведущего.

Можно забраться ещё выше: там, на третьем этаже, зал такой же точно, но полутёмный в это время, вдоль стен стулья, затянутые белыми чехлами кресла — днём тут работают какие-то кружки, а вечером, когда танцы, здесь устраивались обожающие слушать музыку, но не желающие двигать ногами «железные» парочки, которым поцелуи милее танцев, шустряки, спешащие расширить и утвердить только что приобретённые этажом ниже знакомства, да наши дворцовые домовые — наркоши, — им-то действительно танцы до фени, но грохот музыки да зашовганная дрожь здания приятны всё ж для слуха и души.

С этажа на этаж — широкие мраморные лестницы, на перилах можно лежать, если уж очень устал...

В этот год по дворцу гремела песня на мотив модной тогда итальянской новинки «В путь»:

По пятаку, е-е,
Мы соберём на баш!
По пятаку, е-е,
Баш этот будет наш!
По косяку, е-е,
Мы раскимаримся
И в Лендворец с тобой
Балдеть отправимся!

Не знаю, кто сочинил эти слова, возможно, они спустились к нам с третьего

этажа, хотя ожидать от его завсегдатаев такой поэтической прыти было бы делом вполне наивным, но песню подхватили и понесли по дворцу, а потом и по району, как раз те, кто ко всем этим башам и косякам мало имел отношения и, может, почти не представлял, что это такое, но песня на какое-то время стала этаким гимном бесшабашности, удали и взрослости; кто из нас в то время не хотел выглядеть именно так: вот я какой, всё, мол, прошёл, всё знаю и могу!

А те, о ком как бы говорилось в песне, орали её как раз-то меньше всех — они тихонечко посасывали, гоняя по кругу, свои мастырки и вели какие-то балдёжно-задушевные беседы под грохот музыки и шарканье ног второго этажа.

Изредка, как солнце в пасмурный день, возле них появлялась пара милиционеров, выборочно извлекала кого-то из своих постоянных клиентов, спускала на первый этаж, там выворачивала карманы, носки, воротники — всё, куда можно затырить баш — порцию анаши. Иногда, как геологам на Крайнем Севере, их поиски приносили результат; баш извлекался, естественно — с конфискацией, и тут же задавался затоптанный, как окурок на перроне, вопрос:

— Где взял?

— На-ку-не-шёл-знаю... — невнятно и тоскливо бормотал клиент — ему было жаль баша.

— Зачем носишь?

— Да так, просто... не успел выкинуть, — чуток трезвел клиент.

— Продаёшь?

— Уй! — пугался клиент.

— Ты знаешь, что это такое?

— Без понятия! — уже приходил в себя клиент, отбросив печальные мысли прощания с башем. — Почём я могу знать?

И хотя все знали «почём», ответ в десятый раз за последние полгода принимался.

— Ещё раз попадешься, посадим!

— Не, да чё вы, начальник, не-е! — отвечал клиент, уже уверенный, нет, не в том, что не попадётся, — в том, что не посадят.

И поскольку дурь не морфий, и бояться особенно нечего, а продавать он не собирался, да и наркоманов у нас нет в стране и быть не может (и с такими вот возиться по собственной инициативе кому охота?), его ещё чуток мурыжили, стукали по макушке обещаниями строгих кар и отпускали.

Да и какие это были наркоши, — так, плановые, покуривали чуток только в интересах отдыха после тяжкого дня, экономя копейку — стакан портвейна в кафе стоил шестьдесят копеек, а косячок — полтинник, и его хватало на трёх-четырёх любителей, — баловались ребятишки от скуки и желания побалдеть. Мы с Сергеем тоже попробовали как-то дёрнуть мастырку и — слава Богу! — её едкий дым внушил нам сразу же стойкое отвращение. Потому что нет такого планового, который бы не думал, что сможет бросить курить дурь, как только захочет. Потому что каждый уверен, что его молодого здоровья хватит по крайней мере лет на шестьдесят-семьдесят, и все эти россказни о наркоманах — песни из чужой оперы.

Только вот некоторые скоро исчезали из дворца, им уже не хватало дури, и где они продолжали начатое на третьем этаже, мы не знали — большой кайф требует скрытых мест и не терпит лишних людей.

Как-то летом возле дежурной аптеки мы с Сергеем встретили Мишку Рыбу (Щукин — его фамилия), который незадолго до этого куда-то пропал из дворца. Рыба — наш старый-престарый знакомец с соседней улицы, один из лучших наших гонял в прежних футбольных баталиях.

Встретили и испугались:

потому что он нас не узнал,

потому что глаза у него были навыворот и провалы во взгляде;

потому что он весь трясся, ходил ходуном, и, мне показалось, дрожат даже кончики его длинных, но почему-то редких теперь патл цвета грязной соломы;

потому что в его девятнадцатую зиму лет ему было далеко за тридцать,

потому что он непрерывно стучал в закрытое окошко аптеки и просил что-то гундосо и нудно.

— Мишк, — негромко позвал Сергей.

— Чё надо?! — Неожиданно плаксивость перевоплотилась в злобу. — Канайте мимо!

Но мы не канали, мы стояли и смотрели, как он плачет. Нам было страшно и жалко его — мы заметили чёрную россыпь точек на его руке. Наверное, ещё мы почувствовали себя на его месте.

— Да дай ты ему этот проклятый пузырёк! — не выдержал, заорал Сергей на девицу за стеклом. Та хладнокровно покрутила пальцем у виска...

Что-то я много мрачности развёл в этой главе, большинство во дворце всё же предпочитало танцы. Но ведь правда же, даже у самого малюсенького меньшинства есть свои огромные проблемы, и о них надо помнить. Да и кого куда судьба вывезет, можно ли думать, что если ты не там, то и не мог бы там оказаться?..

3

В ту тёплую и мокрую зиму наш Лендворец был похож на перенаселённый муравейник. Да и почему ему не быть похожим, если мы получили такое чудо, какого больше не было не только в нашем городе, но и на пару тысяч километров по прямой от него в любую сторону — в этом мы были совершенно уверены.

Подкатило время славы ансамбля «Битлз» и рождения новой музыки. Гитара сменила голос на электрический и заняла первое место на сцене. Музыкой восторгались, ей поклонялись, обожали до помутнения мозгов — её не понимали, гнали и ненавидели, как бациллу чумы. В неё, точно в рюкзак туристское снаряжение, паковались все ненаши пороки, хотя порок, пожалуй, был единственным: ансамбль был «оттуда», а этого вполне достаточно, чтобы не желать понимать и строить убеждения о беспутности музыки. Ну а нам, молодёжи, только это и надо, точно по принципу: чем хуже — тем лучше. И короткие волны доносили до нас истерзанные, зашорганные и драные, как морда мартовского кота, аккорды ливерпульских парней, да ещё клепались где-то прозрачные, слюдяные пластинки. Всё было ново, страшно, и кто бы рискнул его узаконить? И потому оно, как всегда, мимо газет и журналов, мимо эфира и особо старательно — мимо молодёжи, как что-то постыдное и пакостное.

Но однажды перед танцами Сергей удивил меня:

— Вовка, слышь? Сегодня всё третье отделение будет играть «Утренняя роса».

— Что за «Роса»?

— Не знаю. Говорят, парни из какого-то института.

— Очередная халтура, наверно...

— Да не должно быть... Что-то новое. Натащили кучу аппаратуры.

— Как они сюда попали?

— Сам не врублюсь...

И началось.

В третьем отделении на сцене появились пятеро парней без фраков и бабочек, будто выскочили они только что из толпы в зале, потянули шнуры к своим гитарам, пару раз для приличия глушанули публику аккордами, и взорвалась такая музыка, какой не слышали стены лворца со дня подписания акта госкомиссии по приёмке здания.

А потом они запели, и мы поняли: это что-то такое, знакомое нам, что ловим мы

на «Спидолах», слушаем, затаив дыхание, только чистое и понятное, без эфирных шумов и подлостей.

Через три дня о «Росе» знал почти весь город. И повалил народ в Лендворец, и даже нам, завсегдатаям, приходилось выстаивать в длиннющей очереди за билетами — их теперь продавалось раз в двадцать больше, и в зал набивалось столько парней и девчонок, что о танцах не могло быть и речи, — публика стояла стеной в зале, на лестницах и на третьем этаже. Это уже были концерты. Наверно, именно такие концерты и нужны молодёжи: недорогие, массовые, где любимые и понятные исполнители находятся от зрителя на расстоянии протянутой руки.

Ещё не избалованные славой парни с гитарами старались вовсю. Они ходили по сцене героями и любую просьбу из зала принимали, как приказ.

Каждый раз «Роса» на треть обновляла программу. Пропустив три вечера, посетитель попадал па совершенно другой концерт. Когда они успевали готовить его, трудно было представить, но халтурой здесь не пахло, и мы это чувствовали остро. Нам нравилось всё: и последние битловки, и прогитаренные песни советской эстрады, и даже народные, известные всем лет сто, они делали так, что песни казались новинками рок-музыки.

Народу всё прибывало, и скоро уже «Роса» заняла и второе отделение вечера, а мы были уверены, скоро займёт она и первое, — пора ей брать в руки весь вечер (нам бы — чем больше, тем лучше), потому что дворцовый, в общем-то, неплохой эстрадный оркестр с солистами Жанной и Валерой безнадёжно отстал во времени и нас уже не привлекал — даже наш любимейший медленный фокстрот «Алая роза», что в переводе на русский язык означало «Ласковый Бессаме муччо», был нами основательно подзабыт-позаброшен...

4

Народу вечером во дворце — тьмища, выбирай кого хочешь!

Куда ни глянь: девчонки, девчонки, девчонки! Сколько их было во дворце в ту зиму! Нет, не девушки, не девицы, упаси Бог! — не женщины, а именно девчонки в коротких юбках-колокол, со стрижками и кудряшками, весёлые и серьёзные, красивые и просто миленькие, они украшали дворец, приходя на танцы.

Та слякотная осень и дождливая зима были последними перед нашим уходом в армию, больше подобных зим не было. Через три года всё изменилось невозвратно, а главное, исчезли наши девчонки — они разъехались, стали девушками, замужними женщинами, встречались редко, здоровались вежливо, иногда смущённо и не очень радостно.

Мы знали многих, большинство знало нас с Сергеем, но были там три девчонки, с которыми мы просто дружили. Познакомились случайно, и пошло-поехало: часто вместе — их трое, нас двое, — на танцы порознь, с танцев гурьбой, потом дальше, смотришь, ещё куда пошли компанией. Не знаю, кто кому нравился, выделял ли кто кого или тянулся, но, кажется, никаких пар не было, и так продолжалось целый год, вплоть до нашего ухода в армию.

Странно, но после службы ни я, ни Сергей ни разу не встречали никого из них. Никого! Может, для миллионного города это и нормально, но всё же...

5

До самого Нового года погода стояла ровная: дожди и тёплые туманы. Изредка сыпал редкий снежок и тут же таял. Ночной воздух обдавал мокрой свежестью, городские огни блестели цветными отражениями в тёмных окнах домов, в отполированных дождем тротуарах.

Уже висели в витринах Лендворца красочные афиши новогодних вечеров, когда

в очередную субботу вдруг почему-то мало стало людей в фойе, исчезла привычная очередь за билетами на танцы. Побродив чуток по дворцу, молодёжь расходилась.

— Чёй-то толкучка сегодня пропала? — спросил я у знакомого парня.

— Откуда она возьмётся? — усмехнулся он. — «Росы»-то больше нет!

— Как нет? — не поверил я.

Он сделал невкусное, как азербайджанский чай в пакетах, лицо, сказал уныло:

— Как и не было! Какое-то солнце припекло, и она испарилась. Разогнали, одним словом...

— Как это разогнали?! — не унимался я, чувствуя, как закипает во мне возмущение. — Какое имели право?

— А никакого им права не нужно. Разогнали, и всё! Я почём знаю? Так говорят. Главное, играть больше не будут.

— Совсем? — Я всё ещё на что-то надеялся, точно эта надежда могла вернуть «Росу»[2].

— Говорят, совсем...

Мы так и не узнали, почему не стало ансамбля, — никто не собирался тратить своё достоинство на объяснения нам. По дворцу, как привидения, бродили слухи. Кто-то говорил, что взбунтовались эстрадники-профессионалы, кто-то — что какому-то очень руководящему папаше не нравилось увлечение его дочери чужой музыкой и он, после кратковременного, но личного прослушивания её из какой-то тайной точки здания, запретил пускать ансамбль во дворец, точно к себе в дом, кто-то — ещё что-то... Мы больше верили второму — оно очень смахивало на правду, других причин быть не могло! — и страдали от обиды и бессилия что-либо изменить.

Танцы в Лендворце сразу «скисли». В зале было пусто, как на базарной площади после полуночи. Остались только те, кто отирался здесь постоянно по причине великого безделья. Лишь эстрадный оркестр старательно выдувал в почти пустой зал медные звуки прошлогодней программы — он был штатной единицей и сидел на указанном месте.

Ушла молодёжь, покинула наш дворец в разгаре зимнего сезона, и кто куда пошёл, сказать трудно...

Жаль было ансамбля, и мы негодовали на того человека, который одним взмахом руки перечеркнул наше горячее увлечение, даже не пытаясь понять нас. С удовольствием узнали бы его имя. Но кто снизойдет сказать? Да и был ли то человек, скорее всего это было всего лишь очередное мнение...

Успех ансамбля не был заложен в планах работы разных учреждений культуры, ни один могущественный покровитель не приложил к нему усилий, не указал руководящего направления. Он был неожидан, мало им понятен, а потому — опасен: чем обернётся для мягкого кресла? Эстрадный оркестр — другое дело, здесь всё привычно, проверено, утверждено — пусть играет, даже если его никто не слушает. Можно подумать, что чьи-то уши имеют значение! Подождала бы «Роса», когда до неё дойдёт очередь, её рассмотрят, взвесят и, может быть, даже разрешат. Когда это будет? Неважно...

Жаль было и позже, когда вокально-инструментальные ансамбли стали популярными всюду. Они рождались, как бактерии, и остановить этот процесс уже был не в силах любой самый «руководящий папаша». Но мы могли лишь гордиться — такое у нас уже было, да задумываться: не потому ли мы так отстаём во всём, что такие

[2]В середине девяностых годов я случайно познакомился с одним мужчиной примерно моего возраста и подарил ему свою книгу «Красные огни». Примерно через неделю я встретился с ним вновь, и он вдруг начал горячо благодарить меня за книгу, за то, что написал в ней «о них», и тем самым ввёл «их» в историю. Честно говоря, я сразу не понял, о какой «истории» он говорит, и попросил его мне объяснить. «Так я же один из них, — сказал он, заметно волнуясь. — Из тех, кто играл в «Утренней росе».

И мы пожали друг другу руки. А.Б.

вот «росы» вырывают с корнем, едва они проклюнутся, уничтожают, особо не размышляя, для чего это делается...

Под Новый год неожиданно пришла телеграмма: ***«На праздники буду дома. Если сможешь, приезжай в Новошахтинск. Лариса».***

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Так бывает, сразу обернёшься, —
Словно кто по имени назвал,
Встретившись глазами, улыбнёшься,
И как будто день просторней стал.

Больше он ничем и не отмечен.
Этот день среди обычных дней.
Ну а всё ж без этой краткой встречи
Жизнь моя была б куда бедней.

20 февраля

Здравствуй, Володя!

Ещё немного, и я бы уехала, не застав твоего письма. Дело в том, что я уезжаю в хутор Верхняки к своей подруге Наташе, она там проходит практику. Из нашей переписки выяснилось, что мы очень соскучились друг по другу и практику нам проходить лучше вместе. Это и стало причиной моего отъезда.

К тому же интересно пожить на хуторе, где много коров и кур. Надеюсь к лету, то есть к экзаменам, научиться доить этих коров и ездить верхом на лошади. Скажи, прелесть, да?! Хутор!

Есть одна загвоздка: в Миллерово нужно делать пересадку с поезда на автобус — до Верхняков ещё шестьдесят километров. Сейчас бездорожье, и автобусы не ходят, вот и придётся, наверное, ещё пожить в Миллерово — «свет увидать», пока не случится мороз, сушь или какой-нибудь транспорт до хутора. Мама, конечно, не знает об этой «вынужденной посадке» и потому против ничего не имеет.

Фотографии твои подоспели вовремя — ещё немного, и я бы тебя окончательно забыла. Из страха, что с тобой может случиться подобное, высылаю тебе свои.

Ты хочешь узнать, откуда у меня появилось мнение о твоей влюбчивости — неверное мнение, как ты пишешь. Я бы не хотела отвечать. У каждого человека свои методы и приёмы познания нашего грешного мира, и разглашать их до поры до времени просто не стоит.

Жаль, что ты собираешься приехать в Новошахтинск только пятнадцатого марта. Меня уже здесь не будет. А так бы хотелось увидеть тебя и поговорить.

О моих вкусах в музыке. Если ты помнишь, очень люблю эстраду. Только не всё и не всех в ней. Люблю одноактные балеты и оперетты, музыку Глазунова и слушать вальсы. Нравится и симфоническая музыка, больше — если она написана для скрипки или эти инструменты в ней участвуют. Такие вот пока мои потребности в музыке, если не считать, что ещё обожаю танцевать.

Буду заканчивать — пора собираться в дорогу.

Возможно, я напишу тебе из Миллерово.

Да, ещё я хотела бы тебя попросить: никогда не зови меня Ларой, — этого имени я терпеть не могу, а ты мне напоминаешь о нём в каждом письме.

Целую, Лариса.

1

Телеграмма ударила по нервам, как по струнам забытой гитары.

Я засобирался в Новошахтинск. Тут всё было ясно и сомнений не вызывало. Значит, так, последний день занятий — тридцатое декабря, можно будет часа на три или четыре электричкой, она прибежит в Новошахтинск около восьми вечера, полчаса пешком со станции, и всё в порядке...

Я вспомнил прошлогодний заснеженный, замороженный Новошахтинск и, хотя там сейчас наверняка тоже шпарил дождь, почему-то представил себе, как пойдём мы с Ларисой новогодней ночью гулять по сугробам улиц, померяем снег в парке и на стадионе, покидаемся снежками и я буду целовать её мокрое, раскрасневшееся от снега и мороза лицо, потом мы вернёмся домой, к праздничному столу, греться и отдыхать от беготни, будут гореть свечи, тихо играть музыка, а мы сядем, обнявшись, на диван, поставим перед собой на маленький столик фужеры с шампанским и будем разговаривать. И это уже не будет прежней болтовней на лавочке на поляне, не будет больше отрывистых слов и трудных предложений, мы станем говорить и понимать друг друга.

Вспомнил и представил всё так, точно пытался вернуть Ларису в прошлый год, когда я был в Новошахтинске, и были снег, сугробы, мороз и ветер, но не было её.

Я загорелся поездкой, понимая, как она нужна сейчас и мне и ей, и даже дал себе слово уговорить её бросить эту Кадиевку и переехать учиться к нам — я был уверен, что сумею это сделать. Трудно было ждать эти несколько предновогодних дней, и мне хотелось действовать. С чего начать? Сообщить ей, когда я приеду? Дать телеграмму? Чтобы моего прибытия ждали и её родители? Не пойдет... Послать на Андрюшкин адрес? Забудет за своим хоккеем, паразит, и не передаст. Письмо уже не успеет до праздника — почта сейчас завалена всякой поздравительной чепухой. Нет, пусть уж лучше просто приеду, и всё, — она же знает, не могу я не откликнуться на её зов!

Я снова вспомнил Ларису, теперь уже на вокзале, и опять засомневался. А вдруг она ещё больше изменилась и ничего из этой нашей встречи не выйдет? Нет, шутки в сторону, они плохо пахнут, надо же быть уверенным в себе и в ней: раз зовёт, значит хочет видеть и, может быть, не просто глянуть, сказать пару слов — отвести душу и уйти. Только стремится ли она менять что-то в наших отношениях, вот вопрос. Что если они её и такими вполне устраивают?.. Сомнения наседали на уверенность, и я не знал, что из них сильнее...

Дня за три до праздников мы с Сергеем дулись в шахматы у него дома. Низкие окна полуподвала жактовского домика слабо просеивали серый вечерний свет, мешали его с золотистым сиянием торшера, на радиоле мерно раскручивался новый диск ансамбля «Орэро» — солист Вахтанг Кикабидзе счастливым басом выводил турецкую песню «Я пьян от любви».

Сергей долго думал над очередным ходом и вдруг выдал отвлекающий манёвр:

— Вальдэ-эма-ар! Тридцатого у нас на работе шикарный вечер, я выклянчил два пригласительных билета. Идём?

— У тебя нет девицы, и ты решил пригласить меня?

— Девиц там своих будет валом, правда, больше старых, но кому какая разница? Я хочу, чтобы пошёл ты. — Он подхватил своего белого слона, подумал-подумал и поставил на место.

— Взялся — ходи!

— Да то я так, поправить...

— Мне до лампы. Закон моря: взялся — ходи!

Он досадливо поморщился, поднял слона опять и, поносив его взад-вперёд над белой диагональю, ткнул под мою пешку. — А-а, ладно!.. Так идём или нет?

Я не спешил торжествовать. Пусть никто ни на секунду не сомневается, что всё это плоды моей тонкой, продуманной игры.

— Я не могу. Тридцатого я занят.

— С каких это пор такая занятость даже под праздники?

— С недавних, Серый, с недавних... Растём на глазах... — Я хладнокровно «съел» его слона пешкой. — Вот так-то, дарагой!

— Уй! — возмутился Сергей, и мне показалось, у него разом заболели все зубы. — Это нечестно!..

— Всё нормально! Тридцатого я еду в Новошахтинск!

— Чего ты там забыл?

— Ларка прислала телеграмму, будет там на праздники. Зовёт меня.

— Ты уже решил?

— А-а как же?

— Мутота... Вечер будет приличный, а мне одному не в жилу.

— Найдёшь кого-нибудь.

— Пока пойдёшь, пока найдёшь... Слышь, а чего ты попрёшься тридцатого? Вряд ли она там будет.

— Это почему?

— Тридцатого рабочий день. Пока смоется с занятий, пока доедет — а ей ого сколько пилять! — и это как раз ночь уже будет. Всё равно увидишь её только тридцать первого, так что зря горячку порешь. Тридцать первого утречком и мотай электричкой. Она ещё проснуться не успеет, а ты уже там. Нет, тридцатого мы идём на вечер.

Я молчал. Предложение было заманчивым, объяснения вполне логичными. Что, если и вправду пойти на вечер? Всё равно ведь тридцатого придётся дома сидеть или разыскивать Андрюшку на стадионе — прав Сергей. А на вечер сходить есть смысл — в Новошахтинске-то праздник домашний, комнатный, да и где ещё будешь его проводить? В клуб не пойдёшь — чужаки теперь мы там; компании тоже нет, а хату на двоих так просто не найти, разве что у моих стариков? Да, лучше поехать утром, чего целый день маяться впустую?

— Ну что? — спросил Сергей.

— Уломал, дуем на вечер.

— Ну, тогда китайская ничья! — Сергей перевернул доску, уничтожил почти выигранную мной партию...

2

К Новому году все ждали снега, но почему-то частили дожди. И всё же погода стояла замечательная. Днём ртуть в термометрах поднималась до отметки плюс пять, ночью падала до минус пяти, вечерами город упаковывался сырой ватой тумана. Мы шлёпали в туфлях по лужам, и к полуночи у нас «примерзали» пятки к подошвам, приходилось ещё больше бегать, чтобы они оттаяли. Всеобщая сырость украшала город серебристым разноцветьем, туман округлял, раздирая на части, цветные огни, дышалось легко, а мы выигрывали в лёгкости одевания и соответственно — в лёгкости передвижения.

Город уже жил праздником. Разрисованные Дедами Морозами, Снегурочками и нарядными ёлками витрины магазинов, на центральных улицах гирлянды светящихся снежинок, большие ёлки на площадях и бульварах. Деловитая торопливость детворы, коробки, свёртки с подарками и снедью в руках прохожих, серебряные головки бутылок с шампанским почти из каждой сумки.

Ровно в семь мы с Сергеем поднялись по лестнице на второй этаж конторы стройуправления, где работал Сергей. В небольшом зале красного уголка — огромная пушистая ёлка, в углу накрыт стол: конфеты, фрукты, торт, обложенный пирожными, частокол бутылок с шампанским и сухим вином, напротив — на отдельном столике — негромко мурлыкает магнитофон.

Маленькая блондинка с кукольным лицом и полными ножками шустро бегала на шпильках в коридор при очередных шагах идущих, встречала и распоряжалась: указывала, где раздеться, звала в зал и громко, неестественно смеялась.

— Профкомша! — Ещё на лестнице Сергей показал на неё глазами, потом громко поздоровался:

— Здрасте, Алла Андреевна! С Новым годом вас, с новым профсоюзным счастьем!

— Ты, как всегда, остришь, негодяй! — Она миролюбиво дотянулась пальчиком с красным коготком до носа Сергея и хорошо, как-то даже мечтательно улыбнулась. — Ну, спасибо, дружок! Тебя тоже с Новым годом! Это твой товарищ? — И не задерживая внимания на мне:

— Проходите, мальчики, раздевайтесь...

Народ прибывал всё солидный, возрастом где-то между тридцатью и пятьюдесятью, и мы на самом деле выглядели мальчиками, а потому ничего «шикарного» от вечера я уже не ждал.

Очень мало кто явился со своими половинами, больше — в одиночку, как примерные сотрудники — отметить праздник прежде всего на производстве под направленным профсоюзным руководством, а уж потом, что останется, отдать семье. Не знакомых друг с другом, кроме, пожалуй, меня, тут не наблюдалось, и потому я уже чувствовал себя так, будто без спросу залез ночевать в чужую постель.

Ну вот, наконец, и молодые лица: две девушки — беленькая и чёрненькая, непохожие, как день и ночь, но хорошенькие, весёлые, только первая полновата чуть-чуть, а вторая — немного худая, словно сошла только что со страницы какого-то цветного журнала мод.

— За стол, за стол, — уже все в сборе! — зашумела Алла Андреевна, и мы стали рассаживаться. Я следовал за Сергеем послушно, как вагон за паровозом; мы протиснулись между стеной и столом и уселись почти в самом углу. И беленькая, и чёрненькая оказались как раз напротив, они смотрели на нас и улыбались.

— Лидочка, из планового, — шепнул мне Сергей, делая выразительные глаза беленькой.

— А вторая?

— Первый раз вижу. Наверно, пришла с ней...

Рядом с Лидочкой устроился какой-то дядька с длинной шеей и верёвочно-вислыми усами, он сразу зашептал ей что-то прямо в ухо, а сам, как мне показалось, всё время выворачивал глаза с высоты своей шеи в широкое Лидочкино декольте. Рядом с чёрненькой утвердилась какая-то тётка лет на сорок пять, — губы у неё были нарисованы больше, чем они есть на самом деле, а нос висел, точно дядькины усы, она повернулась к ней широким, как спина чёрненькой, плечом, что можно было считать надёжной изгородью на случай возможного интереса со стороны девушки.

Я подмигнул чёрненькой. Она как-то грустно улыбнулась. Кажется, мы тут оба с ней были на куриных правах.

Потом началось всё, что обычно бывает, когда люди садятся за стол отмечать праздник. Побухали пробками от шампанского, похрумкали яблоками, пошебуршили конфетными обёртками, распотрошили торт — всё под радостные тосты и весёлые вопли. Только вот странновато было встречать Новый год без Нового года, да ещё подумалось, что многие успевают встретить его по нескольку раз. Впрочем, эта странноватость не мешала веселью, и каждый из нас, по всему, был активистом за столом.

Алла Андреевна подлетела к магнитофону, довела его до бешенства и захлопала в ладоши:

— Тан... — Кто-то в этот момент совсем подло выпалил из хлопушки. — ...вать! — Но мы всё равно поняли.

Задергались, застучали стулья, кто-то кинулся приглашать даму, кто-то вильнул в коридор — курить. Пока мы с Сергеем выбирались через стулья из своего пространства между стеной и столом, и беленькая, и чёрненькая уже танцевали: Лидочка — с длинношеим дядькой, её подруга — с каким-то молодым хмырём в широком пиджаке и бабочке — хмырь этот словно бы возник из ничего.

— Что это за народный артист? — кивнул я на хмыря.

— А-а, Пашка Жилин, наш механик, — ответил Сергей. — Любит, козёл, перед бабами хвостом вильнуть, порисоваться, но глаз у него, надо сказать, намётанный и хватка есть.

Пашка этот на вид был лет на шесть старше нас, и в глазе его и хватке я не сомневался. От этого стало немножко скучно.

Что нам оставалось делать, как не пойти покурить, — не приглашать же оставшихся ягодок?

Курительную комнату организовали напротив — в кабинете техники безопасности. Здесь уже заседало человек шесть мужчин. Под сизый дым сигарет и нецензурные анекдоты откуда-то извлеклись две бутылки коньяка в чине капитана, жёлтобоко засветился лимон, блеснули зеленоватым мокрым глянцем солёные огурчики с пупырями, маслянисто разлеглась на бумаге резаная кружками любительская колбаса. Последним, с легким пристуком, точно в первой фазе степа, на стол выпрыгнул гранёный чайный стакан.

Забулькал коньяк, стакан двинулся по кругу. Теперь уже праздник отмечался совсем достойно, и закуска была вполне приличной, да и разговоры под стать — профком не стеснял. Дошла очередь и до нас с Сергеем, но мы дружно отказались — тогда ещё нашему мужскому достоинству и получаемому в результате тонусу для обеспечения весёлого настроения и молодого нахальства, помноженных на пристрастие к спиртному, вполне хватало и двух фужеров с шампанским на весь вечер.

Мы сидели тихо и наблюдали за подпитием мужчин. Они веселели от взгляда на стакан, хотя алкашей среди них, конечно, не было, на их лицах цвело какое-то мучительное удовольствие, словно они имели нужду и собирались пить слабительное.

Наконец, стакан допрыгал до финиша, звякнул о пустую бутылку и успокоился; тут распахнулась дверь, и в кабинет ворвался призыв:

— Мужчины — в зал! Ах, как нехорошо! — Стакан и бутылки мигом исчезли в тумбочке, толстый дядька, как уж лягушку, судорожно доглатывал кусок колбасы. — Довольно топоры развешивать! Дамы скучают!.. Давайте, давайте в зал... — Алла Андреевна словно пересчитывала отлучников, пропуская их мимо себя через распахнутую дверь, и каждый, проходя, наклонялся к ней и говорил, наверное, что-то по-новогоднему хорошее, а мне казалось — пароль, и ещё — она специально стоит в дверях, чтобы весело прижаться к каждому своим пышным бюстом. Впрочем, может, всё это и на самом деле было только новогодней шуткой.

Мы вырвались в коридор. В зале небольшого роста плотный и лысый дядька успешно заменял русскую пляску танцем сваебойной машины, а все стояли по кругу и отбивали себе ладони.

Музыка кончилась, хмырь поспешил к магнитофону — менять пленку, а я — к чёрненькой, успеть пригласить её раньше его. Я дождался первых звуков музыки, подлетел к девушке:

— Разрешите?

Она вежливо кивнула.

Мне нравилось, как она танцует. Её глаза излучали бездну изумления, светились какой-то детской, наивной радостью, она порхала по залу, словно не касаясь пола. На меня тоже наплывала невесомость...

— И вы здесь чужая?

Она улыбнулась.

— С кем вы пришли?

— С тётей. — Она кивнула в сторону.

Я повернулся: Сергей танцевал с беленькой Лидочкой.

— Это ваша тётя? — не поверил я.

— Да.

— Ну и ну! Она же ваша ровесница!

— На четыре года старше! — притворно обиделась она.

Танец кончился, и я успел забить у неё следующий, но Пашка, кажется, не ревновал — он успел уже приклеиться к ещё одной блондинке в этой компании: красивой, пышногрудой женщине лет тридцати, он пересел к ней за столом, всё время подливал сухое вино, что-то шептал в ушко — в середине вечера они незаметно исчезли из зала совсем.

После следующего танца я уже знал, что зовут чёрненькую Людой, что ей восемнадцать лет, а то, что она любит танцевать, и так было видно за версту.

Потом был белый танец, и я понял, что тоже нравлюсь ей. Мы танцевали с ней всё подряд, чокались за столом шампанским и желали друг другу разные разности, как вполне старые если не друзья, то знакомые, и даже украдкой посмеивались над репейной привязанностью Сергея к молодой и красивой тётке.

В конце вечера мы уже целовались на тёмной лестничной площадке между вторым и третьим этажами.

— Нет, что я делаю?! С ума сошла!.. Целуюсь в первый же вечер!.. Такого у меня ещё не было... Что со мной творится?.. — В её голосе бушевало море счастливого удивления.

Мне очень нравилась эта девчонка.

Часам к двенадцати в зале опять объявились Пашка с блондинкой. Все, кто мог ещё соображать и что-то замечать, встретили их настороженно. Пашка был неестественно весел, суетился, на его щеке краснело размазанное пятно губной помады. Женщина сидела в углу с печально-протрезвевшими глазами и ни на что не обращала внимания. У неё поплыла тушь на ресницах, рот превратился в красное бесформенное пятно. Тогда я впервые заметил, что красивые женщины тоже могут быть неприятными.

— Кто она? — тихо спросил я Сергея.

— Ира Волошина, — ответил Сергей, — из бухгалтерии.

— Они что, давно так... вместе?

— Нет, она у нас семьянинка, — почему-то ехидно ответил Сергей и отвернулся к Лидочке.

Незамужняя Алла Сергеевна сидела в противоположном конце зала, длинно и молча смотрела на Иру. Не знаю, может, я ошибаюсь, но мне кажется, что-то такое я сумел уловить в её взгляде. Будто бы: эх, работа, работа, производство... Ты не только возвышаешь женщину, уравниваешь её в обществе, ты так много отнимаешь её времени у семьи. А сколько ты сотворила несчастий, разводов, скольких детей лишила родителей на таких вот мероприятиях дружных коллективов, сколько резких, самостоятельных мыслей внесла в души? Где же она теперь, духовность семьи, где жертвенность?..

Не знаю, как там складывались дела у Сергея, но скоро в личном автомобиле прибыл большой лысоватый дядя — Лидочкин муж, модно одетый мужик, лет на восемь старше её, — и под наши с Сергеем кислые физиономии объявил обеим — и беленькой, и чёрненькой — штрафной удар: пора, мол, сваливать домой, он отвезёт их персонально и немедленно.

— Володя, мы должны встретиться завтра, слышишь, обязательно должны!

— говорила Люда, пока я держал её пальто. — Это же не может быть просто так, ведь правда же?

— Я... — У меня не поворачивался язык. — Я...

— Ты не хочешь? — В её глазах дрожал испуг.

— Хочу. — Я не врал.

— Так что же мешает?

— У тебя есть телефон?

— Есть.

— Я позвоню завтра...

Она благодарно и совсем откровенно для уже собирающейся к отъезду публики поцеловала меня и убежала к нервничающему дяде.

Я рассказал всё Сергею. Он долго молчал, потом сказал как-то неуверенно и тихо:

— Я понимаю тебя. Но бывают в жизни положения. Надо подумать. Что там у тебя, — он неопределенно кивнул, — никто не знает, а здесь живая девчонка, и, по-моему, — прекрасная... Так что, думай. А надумаешь, приглашай её к нам, встретим Новый год вместе...

Я не знал, как быть.

После этого нам оставалось только потихонечку слинять...

3

Утром я позвонил Людмиле.

Ещё можно было успеть и на вторую, и на третью электрички, даже четвёртая успела бы доставить меня в Новошахтинск до Нового года, но я почему-то тянул время. Потом позвонил. Будто надеялся услышать в ответ отказ и успокоиться. Но услышал радостный голос:

— Хочу тебя видеть...

Проклиная всё на свете, пошёл к Сергею. Он принял мой приход так, точно давно всё было решено, — новогоднюю ночь мы провели вместе...

Потом стали встречаться.

Свидания назначались жадно: каждый день и подолгу.

Январь заледенил лужи, притрусил город редким снежком, посвистывал в лица колючим ветерком. Воробьи в городском парке сидели на деревьях надутые, как китайские мандарины, круглые, как пушистые теннисные мячи, и, наверное, удивлялись, что мы с Людой не хотим мёрзнуть. Но когда хорошо, то хорошо должно быть всем.

Неожиданно пришло письмо. В нём ни тени упрёка, только идущая от каждого слова грусть — чуть заметная и немая. И я вдруг растерялся — всё нахлынуло разом, неотвратимо и тягостно. Я пытался внушить себе что-то о детских увлечениях, о нашей с Ларисой свободе друг перед другом и правах на посторонние чувства — Люда нравилась мне, я это знал чётко, но, видно, всё это было напрасным — письмо было сильнее, хотя и неудобно сейчас, оно влекло, требовало, давило непонятной властью, и я ничего не мог поделать с собой.

Мы ещё гуляли с Людой по улицам города, но думал я уже о Ларисе. Наши встречи становились для меня всё более трудными, постепенно я начинал понимать, что выполняю какой-то долг. Но сказать об этом вслух я почему-то не решался.

Через несколько дней, как снег на голову, свалилось второе письмо. Оно словно хотело уличить меня в способности забывать сокровенное, может, даже — в предательстве, оно не кричало, а говорило тихо, но твёрдо, совсем не желая понимать, что до этого у нас было всего шесть писем да три встречи на целых два с половиной года. Оно снова призывало думать.

Что же это такое, в самом деле? Что за влечение? Любовь? Почему же тогда так легко мы обходимся друг без друга? Откуда эта странная необходимость поддерживать отношения? И способность, бросая всё, очертя голову возвращаться к прежнему? Или это всего лишь весёленький романчик в письмах, ничему не мешающий и никого не обязывающий? Так почему же тогда ноет душа и тянет, тянет к старому?

Можно обманывать себя, искать причины этой дружбы, точно на привязи, придумывать разные слова, быть решительным и гордым, всё это минутно и, увы, ненадежно, — письма её не давали мне покоя.

Нет, она тоже не хочет вот так, просто, всё забыть и что-то пытается делать, чтобы не потерять его совсем. Только зачем оно ей, раз всё так? И всё равно я её не понимал.

Может, это просто момент одиночества? Какой-то миг? Или каприз? Или в её жизни что-то очень переменилось, и она стремится уйти от прошлого к ещё более прошлому? А ведь должна была обидеться, обязательно должна была, — я её знал. Но то, что быльем поросло, всегда кажется таким родным и заманчивым...

Я сидел с Людой в кино и сомневался, задавал себе вопросы, невпопад отзываясь на её редкие слова...

Мысли часто — как флюгер. Очень, бывает, они зависят от дуновения ветерка событий или обстоятельств. Сомнения мои исчезли, вопросы отпали, появилась уверенность — она прислала третье письмо подряд.

Словно навёрстывая упущенное, Лариса писала много и жадно, потихоньку где-то за строчками шептала: «Ну, вспомни обо мне, ну! Вспомни же! Ты же не мог забыть меня совсем! Не мог, я знаю! Я есть и помню о тебе...»

И тогда я понял, что ничего не понимал раньше, не понимаю ничего и сейчас.

Понял и написал ответ.

Наши отношения с Людой как-то сами по себе окончательно расстроились. Конечно, мы не ссорились, нет, — не было причин. Люда просто поняла всё и однажды не пришла. Она тоже была девчонкой с характером. Я побродил часок возле кинотеатра «Россия», условленного места наших встреч, и пошёл домой. Разыскивать её и выяснять что-либо я не стал. Это было бы неприятно нам обоим.

И ещё тогда я подумал: «Зачем мне все эти увлечения, если я не могу избавиться от одного-единственного, старого и родного?» Подумал и запомнил эту мысль...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

22 февраля *г. Миллерово*

Володя, здравствуй!

Пишу тебе на почте. Приехала сюда в 4 час. 35 мин. утра, а сейчас уже 11.00. Нашла экспедицию на хутор Верхняки. К моему большому огорчению, машина туда уходит через несколько минут, так что, гулять по Миллерово не придётся. Город маленький, ничего примечательного нет или я не видела. Вместо гостиницы какой-то сарай, в комнатах спят по пять человек, да к тому же ещё идёт ремонт. Молодёжи в городе почти не видно, шныряют только какие-то недоростки.

Володя, мой адрес в Верхняках на конверте.

Доберусь до места, сразу напишу.

Целую, Лариса.

1

Прекрасная зима!

По утрам в серых мазках рассвета светятся изморозь, сказочные узоры на ветвях деревьев, густой на морозе воздух. Вставало солнце, растворяло белесоватую дымку, весь день светило ярко, играя чистыми бликами ослепительно белого снега, который лежал ровно, без залысин, проталин и сугробов.

Ветра почти нет, мороз устойчивый и крепкий. Он прятался от солнечных лучей в тени больших домов, хватал за нос, пощипывал щёки. Дышалось парно, с бодрящей легкостью. Почему-то хотелось бежать — бег, казалось, будет удивительно нетрудным и приятным.

На улице странно уживались тепло и холод, — на солнце можно было раздеться по пояс, в тени студёно, кутаешься ещё плотнее.

Чередование освещённых и теневых мест на улице что-то вроде контрастного душа, только душ этот проливался светом, горячим и холодным. Он бодрил, приятно щекотал. Только воздух оставался постоянен в своей прозрачности и изумительно чистой свежести.

На солнечной стороне с крыш висят огромные сосульки, в самый солнцепёк они тихонечко сочатся чистой влагой, но не тают, а, наоборот, почему-то растут. Вон одна из них соскользнула с крыши, ухватилась за ветки небольшого дерева, разрослась. Белая ледяная звезда!

Я жду Ларису!

Визжат тормозами, юзят на спуске троллейбусы, громыхают металлом дверей. Площадь Карла Маркса заледенела, в бурых, рыхлых накатах песчанистого снега толпа машин, спешат люди... Суета...

Я жду Ларису!

В цветочном ряду на базаре согнутые вопросительным знаком на холоде тощие фигуры. Они, словно базарные ларьки, павильоны, вросли здесь навсегда. Мокрота из длинных красных носов. У-ух, морозище! Какая стойкость! Позанимали все горячие места, а им что осталось?! Тяжело... Одежда дорогая, но безвкусная. Пальцы в золоте, грязь под ногтями...

— Адын гваздыка — три рубли... Какой хороший гваздыка! Бери, брат!

Я принял по-братски три гвоздики. За девять рублей. Красные гвоздики. Я жду Ларису...

Вчера вечером звонок. Она у тётки. Значит, сумела вырваться. Какая она теперь?

— Володь...

— Да?..

Передо мной Лариса. Стройная и красивая, морозный румянец на щеках. Зимнее пальто, высокие сапоги. Какой-то мех на голове. Своя или чужая? Кажется — ещё больше своя...

— Здравствуй! — Она сняла перчатку, протянула ладонь. — Ой, какая прелесть! Это мне?

— Тебе.

— Спасибо. — Лицо её светится радостью. — Ты не на троллейбусе?

— Пешком. Тётка тут рядом, за два квартала.

— Тогда зачем на остановке?

— Я же здесь больше ничего не знаю. Остановка — самое верное место.

— Я бы приехал к тёткиному дому.

— Нельзя — конспирация. На всякий случай.

— Идём ко мне...

— В квартиру, зачем? Двинем в город...

Троллейбус скрипел и дёргался, выл от холода. На ледяных шторах окон дырочки света — следы чьёго-то дыхания. В открытые на остановках двери пытался подсесть мороз.

— Как ты живёшь? — Чёрные глаза Ларисы блестят хорошим настроением. Словно и не было просьбы приехать на Новый год.

— Нормально...

— Нормально, это как?

Действительно, нормально, это как? И плохо может быть нормально, и хорошо. Нормальные мысли, нормальные переживания, нормальная тоска и нормальная забывчивость...

— Не знаю.

— Что же так?

Что ей ответить, если не можешь ответить себе, если сам не понимаешь, как жил это время, что выстрадал и что доказал. Хорошо было или плохо? С ней или без неё? Вспомнилась Люда — она тоже была из этих неясностей. Письмо Ларисы, её неожиданное появление и вполне ожидаемые исчезновения. Всё это тоже было нормально.

— Ты не рад, что я приехала. — Её голос стал серьёзным. — Извини, свалилась, как снег на голову, понимаю...

— Рад.

— Тогда почему такое уныние?

При чём тут уныние? Мне много надо сказать ей, и я не знаю, с чего начать. Мне неудобно, даже стыдно, — я не принял её протянутой руки, и она молчит об этом. Лучше бы сказала или обиделась — так легче. Я хочу быть рядом с ней и не могу приблизиться. Может, это всё похоже на уныние? Нет, так нельзя...

Я улыбнулся, взял её руку, снял перчатку. Рука маленькая, пальцы ровные, трепетные...

— Я не унываю, нет. Я ещё не совсем освоился и потому думаю. Я уже чуток научился думать. И вот сейчас думаю, что ждал тебя, волновался, ты приехала, и я не пойму кто: та Лариса или не та?

— Той Ларисы уже нет, Володя.

— Но хоть что-нибудь должно же остаться?

— Что-нибудь осталось. Но очень мало.

— Вот потому я и не могу освоиться.

— Ты хотел бы без перемен?

— Нет. Зачем? Всё должно меняться.

— Тогда в чём же дело?..

В чём же дело? Люди знакомятся, с каждой новой встречей становятся чуточку ближе. Даже если не друзья, а просто знакомые. Что-то узнают, что-то примечают. Между нами вырос барьер. Или вал. И каждый раз он становится выше. Мы скрываемся за ним, хотя, наверняка, очень хотим видеть друг друга. Сказать ей, как у нас?

— Ту Ларису я, кажется, знал хорошо...

— А эту не знаешь...

— Нет. Почти не знаю. Я словно бы заново знакомлюсь...

— Я тебя тоже не узнаю. Ты никогда не робел и не впадал в философию. По-моему, ты на самом деле учился думать.

— И это не пошло мне впрок, — ушёл в сторону я. Наш серьёзный разговор кончился, не успев начаться. Что-то очень мешало нам обоим.

— Давай выйдем, — предложила Лариса...

2

Бульвар полон зимы. Шапки снега на деревьях, скамьях, на громадном памятнике Первой конной посредине. Цепочки следов тянутся наискосок к троллейбусной остановке. Тихо, только на центральной улице ватно шумят машины.

— Красиво как! — Лариса тронула ветку липы, пушистый снег упал ей на плечи, оторочил белым мех шапки.

— Думали, зимы не будет. Дожди и дожди. Только под старый Новый год выпал снег. А теперь морозы давят по-настоящему.

— Смотри, белочка!

По тёмно-серому стволу осторожно спускался зверёк. Пушистый хвост трубой.

— Ручная! Надо ей дать что-нибудь. У тебя есть?

— Нет.

— Жаль... — Лариса погладила мягкий пушок. Белочка задержалась на секунду, скользнула вверх по стволу, пропала в заснеженных ветвях. — Нравится мне ваш город. Бульвар, дома красивые, люди хорошо одеты...

Нравится. А сама уехала. Вон за углом Дом моделей. Там и училище. Когда-то спрашивала меня о нём. Подождала бы год, и сейчас не было бы никаких проблем. Или были бы? Нет, проблем — никаких. Всё было бы чётко: или да, или нет! Может, это и лучше, не знаю...

Лариса постучала носком сапога по стволу. Белочка не отзывалась.

— Пойдём. — Она взяла меня под руку, и мы пошли через бульвар.

Странно, волнения, как в прошлый раз, я не испытывал. Мне было хорошо, даже приятно идти под руку с красивой девчонкой — пусть смотрят люди, пусть кто-то позавидует, подумает, что она моя и как отлично мы с ней смотримся, но волнение... — оно испарилось, исчезло, и, кажется, я был готов к этому. Я ещё не понял этой нашей встречи, и мне было легче не ждать от неё ничего нового.

Потом мы грелись в кафе «Огонёк»: пили кофе, ели бутерброды.

Входили и выходили люди, дымился в чашках кофе, воздух был сладким и чуть душноватым. На стеклянных стенах ещё намалеваны гуашью новогодние картинки, сумеречно проступают сквозь них прохожие, машины на улице, дома. Лариса смотрела через столик и молчала.

— Ты надолго в Новошахтинск?

— Я давно в Новошахтинске. С прошлого года. Теперь уезжаю. Практика.

— Куда?

— Пока в Кадиевку, а там — куда пошлют.

— Это важно — практика?

— Я же учусь...

«Брось ты её, останься! — хотелось сказать мне. — Ещё всё можно изменить, начать сначала!» Уверить её, внушить! На меня смотрели грустные глаза, и я молчал, зная, как быстро они могут стать решительными. Кто я такой, чтобы лезть в её жизнь?

— Ты не хочешь рассказать о себе...

— Что рассказывать, Володя? И зачем? Вот увидела тебя, поговорила, подержала за руку, и душа словно что-то нашла, потеплела...

— Тебе трудно?

— Не знаю. Не думала...

— Хорошо, что ты приехала.

— Ты серьёзно?

— Да.

— Значит, я не ошиблась. Я знала, ты будешь рад. Хотя... — она на секунду задумалась, помешивая ложечкой в чашке, — было очень наивно надеяться... Мне, видно, повезло.

Я положил руку на её ладонь, легонько погладил пальцы.

— Не нужно, Лариса.

— Да, не нужно. — Она отпила глоток кофе. — Совсем остыл...

— Я возьму горячего.

— Нет! — Она решительно потянула на плечо сумку. — Пригласи меня в кино.

— В кино?

— Да.

— Кажется, в «Победе» идёт что-то интересное.

— Всё равно...

— Тогда разрешите пригласить вас в кино?

— Ваше приглашение несколько неожиданно. Я подумаю.

— Только не очень долго — на сеанс опоздаем.

— Я согласна...

Мы шутили, но было невесело.

3

В зале, как всегда зимой, духота. Пахнет мокрым мехом и грязными опилками. На экране французская кинокомедия. Целых две серии. Луи де Фюнес. Зал смеётся, мы — нет. Целых две серии я вижу затемнённый профиль Ларисы. Изредка она смотрит на меня, недовольно отворачивается. О чём она думает?

— Володя, не смотри на меня так. Мне кажется, ты меня изучаешь, как блоху под микроскопом.

— Я действительно тебя изучаю.

— Зачем?

— Чтобы понять, кто ты такая.

— Ты до сих пор не понял? Тебе было страшно...

— Нет. Но я...

Сзади зашипели, завозмущались. Мы поднялись и ушли...

Дом Ларисиной тётки большой, кирпичный. Глухой забор с железными воротами покрашен зелёной краской. Улица-линия круто бежит к реке, кое-где выставляя из снега булыжные ухабы. Зимой машины здесь не ходят — не выберешься наверх, не удержишься при спуске. Снег скрипит под ногами редких прохожих. Ровный и чистый, он утыкан луночками детских следов, прочерчен полозьями санок. Ранние сумерки повисли на верхушках голых деревьев.

— Когда ты уезжаешь?

— Сегодня. Электричка через полтора часа.

— Поедем вместе. Я провожу тебя.

— Куда?

— В Новошахтинск. Отведу тебя домой и, если успею, той же электричкой назад.

Она посмотрела на меня, улыбнулась, что-то обдумала и сказала:

— Нет, не надо.

— Надо.

— Нет, Володя. Меня проводит тётя. Я уже чувствую разгром за целый день и опоздание на электричку. Мы не сможем побыть вдвоём.

— Она не знает меня. Я посижу до отправления в другом конце вагона.

— Нет, не надо, прошу тебя. Электричка же будет там стоять и пойдёт сюда только под утро...

Для чего причины, выводы, сравнения? Когда всё так просто: сел и поехал. Неважно, когда вернётся электричка. Или это всего лишь слова? Поиски причин? Вышло, наверное, наше время на этот раз, и потому пора его кончать...

— Володь, ты способен на безрассудство, я не знала...

— Ты не знаешь многого.

— Да?

— Попробуй узнать.

— Когда-нибудь попробую. Но, по-моему, сейчас безрассудство тебе ни к чему.

Опять отстрел. Для чего? Я замолчал.

Она подошла ближе, взяла меня за руку.

— Мне пора, Володя. Поцелуй меня...

Целовались мы долго. Словно пытались заменить поцелуями всё недодуманное и недосказанное. Губы её нежные, теплые, будто шептали что-то, волосы пахли чем-то сладким и знакомым.

Лариса провела кончиками пальцев по моим губам, сказала, улыбаясь:

— Мог бы догадаться и сам... Раньше... Пока!

Она ушла, скрылась в снежной сумеречности, чтобы снова уехать. Я отправился домой, ждать её писем. Но письма почему-то приходить перестали.

Тогда я впервые почувствовал — чем больше я узнаю Ларису, тем меньше её знаю...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

17 марта *х. Верхняки*

Здравствуй, Володя!

Твоё письмо я получила вчера вечером, когда была уже на работе, потому за ответ смогла сесть только через сутки.

Работаю с пяти вечера и до восьми вечера на другой день, потом двадцать один час отдыхаю, и снова на такие вот удлинённые сутки, так что здесь не работа, а каторга. Терпеть можно только потому, что тут не скучно. Работаем вместе с Наткой и одной помощницей — Галинкой. Ссоримся и миримся через каждые пять минут. Ты же понимаешь, как это работать в одну смену двум «главным специалистам», но скоро нам должны дать по смене отдельно.

Здесь уже правила полноценная весна, но сегодня вдруг налетел настоящий ураган — местность вокруг открытая, и ветер просто с ног валил. Опять, наверное, будет всё сначала: и дождь, и грязь.

Ты обижаешься на мои письма — они перестали быть свободными и подробными, больше похожи на «посторонние». Постараюсь тебе объяснить. Бывают такие минуты, когда думаешь: для чего я ему пишу, зачем он мне нужен? У нас в семье люди вообще самолюбивые, а тут ещё как подумаешь да прикинешь кое-что, тогда совсем с ума сходишь, и хочется тебя унизить, обидеть — пусть и тебе будет так же больно. Но я сдерживаю себя, жду, пока это пройдёт, и тогда снова пишу тебе. Насколько оно прошло, отражается (волей-неволей) в моих письмах, но я всё равно пишу, потому что, наверное, не могу не писать. Может, всё дело в том, что я тебя не вижу и единственно уважаю потому только, что ты не мелькаешь всё время перед глазами, был бы ты поблизости и видела бы я тебя каждый день, возможно бы, давно забыла. (Кажется, я уже писала об этом.) А может, и всё наоборот — тут не угадаешь, — не приходили бы в голову дурные мысли, не терзалась бы душа в догадках и предположениях, всё было бы надёжно и просто.

Странно, но я совсем не могу сердиться на тебя, и если всё-таки рассержусь когда, то на пару минут, не больше. Так что, можешь пользоваться и писать о чём угодно и когда угодно.

Сейчас у меня мелькнула мысль: «Чего это ради я шлю телеграммы какому-то ханыге, вместо того чтобы самой получать их с таким же содержанием и точно так же не приезжать?» Видишь, я сама и посылаю, и унижаюсь.

Не хочешь ехать в хутор, не надо. Мы тоже здесь не останемся и после экзаменов — десятого-пятнадцатого июня — снова двинем в Геленджик, на наше старое место. Там одно преимущество перед твоим Туапсе: мы сможем бесплатно питаться, а сэкономленные на этом деньги просто прокутить. Знакомые с квартирами там тоже есть, и нам известны всё уютные уголки в городе. У нас даже было собственное ночное кафе с нашим названием «Вольный ветер». Это буфет на бульваре, на веранде которого оставляют на ночь все столы и стулья, гуляет ветер и терпко пахнет морем.

Володь, а вдруг что и получится из нашего совместного отдыха, а? Давай решим конкретнее, без лишнего бахвальства друг перед другом.

С Наткой я познакомлю тебя через фото — мы думаем с ней сфотографироваться. Только снимки будут любительскими — ателье здесь нет.

Пока всё.
До свиданья, целую нежно в щечку, Лариса.

1

Наша переписка почти полностью зависела от капризов и поворотов её судьбы, и потому фактически я мог лишь отвечать на её письма, пытаясь поймать ускользающий след Ларисы. В последних её письмах — уйма вопросов, и вдруг, как удар обухом: «Не пиши мне пока...» Эта фраза вогнала меня в уныние.

Но я хотел писать и решил писать. И писал, иногда не зная, зачем. Часто мне казалось, мои письма не настигнут её, попадут в чужие, злорадно-любопытные руки, их будут читать, пуская реплики и ехидно улыбаясь. Но я писал...

А она отвечала...

Не знаю, но что-то случилось с её письмами. Они были её, пока ещё её, но уже менялись. Я не замечал перемен, я чувствовал их нутром, как старый дед чувствует перемену погоды: что-то тревожит, жмёт сердце болью и не даёт ни покоя, ни ясности. Я чувствовал и не хотел понимать — что именно. Нет, я, конечно, догадывался, но упирал на непонимание, как рыцарь в бою на доспехи, — оно давало надежду, хотя и не спасало совсем.

Особенно «плохие» письма пошли из хутора Верхняки. После каждого я терзал себя вопросами и не находил ответов. Зачем она поехала в хутор, что там забыла? Забраться в глухомань, за тридевять земель... от меня! В такие минуты я ненавидел хутор Верхняки, все его население вместе с Наткой, приезжими осетинами, коровами и курами, но она звала, и я решил всё-таки съездить к ней.

Поездка в Верхняки стала как бы частью нашей переписки. Она недоделана, недосказана, восторга не вызывает.

По улицам бойко шагала весна нашего последнего курса в техникуме, ещё сырая и холодная, но уже отмеченная преддипломной практикой. В конце марта выпало два свободных дня, к ним можно было добавить ещё воскресенье, и я поспешил в Верхняки.

2

Как часто мнение о новом для тебя городе складывается из того, каким ты сам был в этом городе: весёлым или грустным, больным или здоровым, что хорошего или плохого там с тобой произошло. И если ещё подмешать к этому время года, погоду, тогда побоку архитектура, старина, розы на бульваре и чистота улиц. Остаются лишь ощущения, замешанные на этом самом плохом или хорошем.

Так и Миллерово для меня в тот раз.

Город обычный для этих мест и своего статуса райцентра, есть всё, что нужно: вокзал, плохенькая гостиница, элеватор, базар. Немного асфальта, ещё меньше — центра, и одноэтажные, частные дома с садами и садиками, они сливаются, бегут серой в хмуром марте месяце сплошной массой, и кажется, город отличается от большой деревни лишь тем, что пробежит иногда, разбрызгивая грязь по редкой асфальтированной улице, маршрутный автобус.

Город стал тупиком на моей дороге к Ларисе.

Сразу за городом начиналась талая мартовская грязь, непролазная и холодная. Море грязи и город, точно порт на берегу его. Но нет никакой возможности переплыть это море, выгрести к островку под названием «Верхняки».

Падал снег с дождём, низкие, мрачные тучи цеплялись за башни элеватора, на деревьях у вокзала сердито гоношились воробьи, и, хотя воздух пьянил, дышал весной, солнце куда-то пряталось, перемешивало утро с вечером, нагоняло уныние.

— Вы не в Верхняки?

— А это куда? — Широкое лицо водителя с трудом умещается в открытой форточке грузовика.

— Не знаю...

— И я точно так же...

— А вы не в Верхняки?

— Ты што, парень? — Пожилой водитель постукивает кирзовым сапогом по скату летучки. — Туды сичас токо на дэтэшке...

Я бродил по вокзалу, толкался на автостанции, ловил попутные машины у поста ГАИ на выезде из города. Нет. Ничего. Автобусы в Верхняки не ходили. Машины — тоже. Может, где-то и мог оказаться вездеход. А пока что ничего. И не будет ещё по меньшей мере пару недель. Если, конечно, не случится жара.

На жару надежд не было. К тому же, я почти не представлял, куда всё-таки ехать, — название «хутор Верхняки» мало что кому говорило. Нужен был случай, а он не подворачивался.

Мест в гостинице, конечно, нет. Ночевал я на вокзале. В углу толстый цыган продавал семечки. В буфете булыжной твердости пирожки, хлебно-сальные котлеты. Кофе чуть-чуть пахнет кофе, зато горячий. Всё противно! И город, и хутор, и грязь. Её я просто не учёл. Ещё один день надежды, но — увы! Гусеничные трактора на шестьдесят километров не ходят...

Можно носиться по городу, искать, требовать, рвать горло, разбалтывая густой шум в хмуром небе, наврать что-то в каком-нибудь официальном учреждении, можно психовать, нервничать, валить всё на погоду, сетовать на невезение, — всё это можно, и так даже, наверное, проще. Но что делать, когда чувствуешь только пустоту и усталость, когда хочешь и не хочешь задуманного, с холодным безразличием знаешь — надо и одновременно — не надо? Я не уверен, что думал и чувствовал именно так, — наверное, я и психовал, и метался в поисках пути, но пустоты и усталости всё прибавлялось, моё движение к Верхнякам забуксовало, а желания раскручивать его у меня с каждым часом становилось всё меньше и меньше.

Вечером второго дня уехал домой. Стучали колёса поезда, мерно раскачивался вагон. Я лежал на верхней полке и чувствовал, как успокаиваюсь. Хутор Верхняки, словно крепость, в которой сидела Лариса, мне не дался. Только она об этом не должна знать...

3

Практику заканчивали с хорошим настроением. Весна ворвалась в город ярким солнцем и бездонной голубизной неба. Почки на деревьях быстро набухали и яростно лопались, в полдень даже тянуло жарой.

Во второй половине апреля наша группа приступила к дипломному проектированию. Мы собирались по утрам в аудитории на пятом этаже. На дверях красовалась надпись: «Дипломанты». Она дышала солидностью, напоминала о тишине и уважении. За дверью сейчас сидели самые серьёзные люди в техникуме. Сознавать это было ох как приятно!..

Мы обкладывались книгами и бумагой, лениво пытались что-то писать. Смотреть в окна, за которыми цвела весна и на крыше соседнего дома нежно ворковали голуби, выясняли свои сердечные привязанности воробьи, было невыносимо.

И постепенно серьёзность начинала таять, плавиться под ласковым апрельским солнцем, наше весеннее брожение — выплёскиваться наружу.

И вот уже Сашка Озеров бессовестно кричит, привлекая всеобщее внимание к целующейся паре голубей па крыше:

— Смотрите, смотрите! Вот он сейчас обойдёт её, во — обошёл! Теперь нужно на спинку взобраться, а она... присела, во! И — р-раз! Готово!..

Парни дружно колыхали хохотом листки бумаги на столах, девчонки деланно отворачивались, ловили в солнечных лучах безразличие, старательно прятали улыбки. Но Сашка знал, что к чему и продолжал заводить всех. Только бы вспомнил кто свежий анекдот.

А можно было спеть, совсем как на первом курсе:

Это школа
Соломона Фляра,
Школа бальных танцев,
Вам говорят!
Две шаги налево.
Две шаги направо,
Шаг вперёд и две назад...

Или станцевать, как на втором:

Кавалеры,
Приглашайте дамов, —
Там, где брошка,
Там перёд!
Две шаги налево,
Две шаги направо,
Шаг вперёд и две назад...

И если от закрытых дверей и пустого коридора не угрожала опасность, продолжить:

Дамы,
Приглашайте кавалеров, —
Там, где галстук,
Там перёд!
Две шаги налево,
Две шаги направо,
Шаг вперёд и две назад...

Потом нашлась причина выйти на улицу. К весне, солнцу, к тёплому, пахнущему абрикосовым цветом ветру. У кого-то случился день рождения. Его нужно было отметить. Удивительно, но позже оказалось, что много наших родилось в зелёные майские дни и ночи, впрочем, было ли это так на самом деле, интересовало нас мало. Как только выявлялся очередной «новорожденный», мы скидывались по рублю, покупали немного сухого вина, конфет, шли на веранду ещё закрытого летнего кафе «Зелёная горка» в парке Горького. Там сдвигали в один пластиковые столики, часами сидели за сухим вином и веселыми разговорами, млея на солнце и остро чувствуя запахи пробуждающегося парка.

Нас наполняли ощущения близкой свободы, свободы в том смысле, когда чувствуешь, что избавился от старых — пусть даже хороших, пут, а новых ещё не приобрёл. Пройдёт какой-то месяц, и распахнётся клетка условностей нашей сегодняшней жизни, и мы, точно птицы, вылетим из неё каждый своим путём: кто работать в новые города, кто в армию, а кто и замуж — как шутили наши парни. Мы чувствовали себя совсем взрослыми, самостоятельными людьми, которым оставалось только переступить порог в новую жизнь, и вот этот самый миг переступления был сейчас необычно значительным и возвышенным.

А в памяти от прошлого обязательно останется только хорошее — плохого, к нашему счастью, было совсем мало, и должно оно забыться сразу и навсегда. Останутся хорошие друзья, ожидание новых встреч...

Расходились из кафе мы поздно, возвращение в нашу душную аудиторию уже не имело смысла.

Наше беззаботное существование кончилось внезапно и довольно скоро. В аудиторию вошёл директор техникума, сверкнул на нашу притихшую массу гневным взглядом чёрных глаз, сказал строго:

— Всю вашу группу будем оставлять на второй год. Пойдёте на производство, потрудитесь рабочими, а через год, кто поумнеет, вернётся делать проект и защищаться...

Мы онемели. Мы были удивлены: ведь так славно сознавать, что уже —всё... Мы привыкли к этому.

— Посмотрите на график проектных работ, — продолжал директор. — На сегодняшний день должно быть выполнено восемьдесят процентов, у вас же, в лучшем случае, двадцать! У кого через неделю не будет девяносто, тот может быть свободен.

Руководитель группы проектирования, маленькая, полная Рахиль Давыдовна, не дыша, хлопала длинными ресницами — она боялась больше нас. Директор грозно на неё глянул и молча вышел. Мы поняли, — он не шутит.

4

В ту неделю я спал три часа в сутки да ещё час выкраивал на прогулку. В десять вечера ко мне, полупьяному от сидения над чертежами и недосыпания, приходил Сергей. Мы шли на вокзал, покупали по дорожному набору (тогда были ещё такие в перронных ларьках, с копчёной колбасой и сыром), выходили на перрон, устраивались где-нибудь на перилах. Дорожные наборы почему-то казались нам очень вкусными, располагающими к неспешной трапезе. Мы молча ели, а мимо суетились пассажиры, уходящие поезда подмигивали нам красными фонарями. Они словно манили куда-то уехать, и хотелось чего-то неизвестного, непонятного. Как обещание постоянно нового, огромного и счастливого, в душу закрадывалось чувство дороги.

Тогда я снова думал о Ларисе.

Нить наших отношений представлялась мне сотканной из плохой пряжи: то толстая и крепкая, то тонкая и слабая, готовая и любой миг оборваться, она вилась, тянулась, натягиваясь и ослабляясь, наматывала свою безнадёжность. Я запрещал себе думать о ней, — не стоило заполнять сердце пустотой. Нужно было получать диплом, потом собираться в армию, меня могли забрать в любое время: и сразу после окончания техникума, и через полгода. А там уже тем более ничего не сделаешь, там уже всё будет поздно окончательно. Я запрещал себе, но это мне плохо удавалось.

Так проходил час.

Мы надували пустые пакеты, сжав их рукой у горлышка, громко хлопали и, бросив в урну, уходили домой: Сергей — спать, а я ещё посидеть над чертежами до двух часов ночи. На всех развлечениях решительно был поставлен крест: мною — из-за отсутствием свободного времени, Сергеем — из чувства солидарности и нашей старой привычки всегда помогать друг другу.

Минула неделя. Я почти падал от усталости, но проект вытянул. Наверное, такой же ценой вышли на уровень и остальные. Чисто нашенская манера: сначала беспечно транжирим время, потом вкалываем до потери пульса, нагоняя. Она уже тогда зацепила нас. Особенно трудно пришлось тем, кто жил в общежитии. Масса народу шаталась там до глубокой ночи. Она была весёлой, нахальной и непонятливой. Приходилось баррикадировать двери, от шума в коридорах затыкать уши ватой. Но всё это уже были мелочи...

Директор пришёл проверять нас. Рахиль Давыдовна цвела, мы смотрели на начальство взглядом людей, умеющих точно рассчитать свои силы и не признающих ложной паники. Григорий Яковлевич — мужик умный, он понял всё сразу и не похвалил нас — его интересовало только соответствие процентов графику.

Ещё тогда мы поняли: за каждый шаг — верный или неверный — потом приходится соответственно платить...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

20 марта

Котик усатый
по садику бродит,
а козлик рогатый
за котиком ходит.
И лапочкой котик
моет свой ротик,
а козлик седою
трясёт бородою…

Нравится?

Сейчас одиннадцать утра. Нам дали двое суток отдыха, но не позаботились о том, что мы будем делать. Я вымыла полы, и всё — заниматься больше нечем, потому пишу тебе письмо.

Вчера были в клубе, смотрели «Я, бабушка, Илико и Илларион». Сидели на скамейках, а от них спина устает ужасно. Фильм шесть раз прерывался, потому что аппарат в клубе один. Несмотря ни на что, картина понравились.

Сегодня в двенадцать к нам должны прийти гости, тогда, может, станет хоть чуточку веселей.

На улице снег и ветер, только снег с грязью.

В хуторе процветает разврат. Мужья гуляют с чужими жёнами, те — с приезжими осетинами, один дядечка — местный начальник — имеет любовницу, которая старше его дочери всего на два года. А «мальчиков» в двадцать пять-тридцать лет любят все. Для нас с Наткой уже подыскиваются такие. Вчера, в десять часов вечера, приходил в столовую электрик по поводу того, что утром не будет света. Ему тридцать два года (моложе мамы всего на шесть лет), у него жена-учительница и семилетний мальчишка. Он просидел с нами до двух ночи, пока мы не пошли домой. А свет всё-таки загорелся.

Натка знакома с тобой по фото. Она оценила тебя многозначительным словом «ничего». Летом отдыхать будем вместе с ней.

Пока заканчиваю. Завтра, возможно, напишу ещё.

Лариса.

1

Перечитав её письмо из Верхняков, я вдруг с особой ясностью понял — ей просто не о чем писать мне и пишет она всего лишь из вежливости или по старой привычке. Письма её приходили так же, но в письмах уже ничего не было — новости Верхняков не для меня.

Я отослал ей несколько страниц, рожденных обидой, и после этого твёрдо решил: всё, хватит с меня этой переписки, что изредка приносит шаткую радость, а больше — растущее непонимание и бесконечную тревогу.

В конце июня опять пришла телеграмма. Я пошёл на Старый автовокзал, не зная, зачем иду и буду ли её встречать. Странная смесь поселилась в моём сердце: уныние, сдобренное ненужным теперь облегчением, — наконец-то, она выбралась из этого паскудного хутора.

Автобус запаздывал.

Я бродил по перрону и совсем не думал о том, какой может оказаться эта наша очередная в своей неожиданности встреча почти через полгода. Так было со мной впервые. Мне думалось, я просто гуляю.

Над привокзальной площадью дрожала жара. Крытый перрон чуток продувался, народ стащил свои сумки и чемоданы сюда, устроился, кто как сумел. Терпение — ве-

ликое достоинство наших пассажиров. Я вглядывался из-под навеса в лобовые надписи подходящих автобусов, рассматривал пассажиров — таких разных и в то же время таких одинаковых, изнурённых ожиданием и полдневной жарой. И мне даже нравилось это делать, словно разгадывал я человеческий ребус, ответом которого должна была стать прекрасная незнакомка...

Встретились мы после полудня.

От стоянки междугородных такси шла хорошо одетая девушка с дорожной сумкой в руке, и я, узнавая её, вдруг до боли ощутил, что вижу совершенно чужого мне человека, которого лишь усилием воображения мог сравнить с Ларисой из моей памяти.

Она чуть пополнела, налита мягкой женственностью, волосы схвачены незнакомой мне причёской. Шла быстро, походкой человека, уверенного в себе: голова высоко поднята, смотрит прямо, с лёгкой улыбкой на губах, и только глаза под чёрными ниточками бровей показались мне знакомыми. Боже, неужели это всё же она?!

Я вспомнил фотографию, присланную ею из училища, — она была снята с девчонками из своей группы и точёными линиями лица, пухлостью губ, чёрнотой слегка кавказских глаз резко выделялась из общей массы лиц, точно живая роза на скатерти, сплошь вышитой розами. «Да она просто знает, что красива! — неожиданно ударило мне в голову. — Отбоя, наверное, нет от женихов! Привыкла...» Мне было грустно. Теперь я уже совсем не знал, как к ней отношусь, и как нужно себя вести...

Она увидела меня.

Я внутренне собрался, приготовился к встрече. Подошла ближе, улыбнулась. Но ничего — ни радости, ни разочарования — ничего нельзя прочесть в её улыбке.

— Здравствуй...

— Здравствуй! — Она поставила сумку на перрон.— Вот и я...

— Ты откуда? — Я пытался выглядеть весёлым. — Не заметил твоего автобуса.

— А-а... — махнула она рукой. — Частник один подвёз. Автобус я прозевала. Бывает. Пока болтали да прощались, он укатил. Пришлось ловить частника. Но, как говорится, что ни делается, всё к лучшему! Я, как видишь, здесь, автобус ещё где-то плетётся.

Я старательно улыбался, напряжённо наблюдая за ней. Мне хотелось найти прежнюю Ларису, хотя бы так, чтобы вспомнить хорошенько, почувствовать наше, вчерашнее и привычное, но из этого ничего не выходило.

— Пойдём. — Я поднял сумку с асфальта.

— Куда?

— Ко мне...

— Постой, Володя... — Она посмотрела на квадратные часы фронтона вокзала, потом зачем-то опустила глаза. — Через полтора часа уходит автобус на Северодонецк.

— Северодонецк?!

— Да... Завтра я должна быть на работе. В Северодонецке.

— Почему там?

— Дали туда направление. Что поделаешь? — Она неопределённо махнула рукой. — Такие вот у меня дела.

— Ты же написала: «Встречай».

— Ну что ты, Володя! Не могла же я быть здесь и не увидеть тебя! Это же не в моём стиле, ты знаешь. Мне интересно посмотреть, каким ты стал теперь, время-то летит...

— Ну и как?

— Ничего... — Она непонятно засмеялась, потом попросила:

— Помоги мне купить билет на вашем большом и шумном автовокзале.

Я лихорадочно усваивал происходящее. Пусть всё: холодность, отчуждённость, непонимание, разочарование, — но чтобы снова вот так, на минутку, — этого я не хотел принимать. Всё уже успокоилось, легло на свои места, но опять резкое колебание, неожиданное взбалтывание, и всё переворачивается, приходит в движение — душа снова ноет, может быть, где-то теплится надежда — и на тебе! — это никому не нужно, всё это просто так: глянуть, оценить и сбежать...

Я посмотрел на неё. «Зачем ты только приехала!» — хотелось сказать. Она поймала мой взгляд и всё поняла, молча отвела глаза в сторону.

Кто тут в чём виноват? Непонятно. Кто может обвинять или оправдываться? Да никто. Или оба. Всё так сложилось, и мы не знали уже, нужен ли чей-то шаг навстречу...

— Пойдём... — Я поднял сумку.

Через громадный, душный зал прошли к кассам. Людей в зале немного. Лариса быстро купила билет, вернулась ко мне.

— Ну что будем делать? — спросил я, нажимая на безразличие в голосе.

— Посидим где-нибудь? — Она ещё раз посмотрела на часы. — Если ты не спешишь, конечно... В тенёчке. Жарко сегодня... И попить бы...

— Тогда пойдём наверх. В кафе. Там должно быть прохладно, а напиться можно в дымину... — Меня давила потребность вести себя вызывающе.

Только напрасно — Лариса не хотела ничего замечать.

2

Лестница в мраморных плитках вела на второй этаж. Мы оставили сумку в гардеробе у стеклянных дверей кафе, прошли в зал со светлыми полированными столиками и красными креслами на металлических никелированных ножках.

Едва слышно шумел кондиционер, на громадных оконных витражах в разноцветных солнечных лучах мозаичные казаки ловили здоровенных, но тоже мозаичных осетров, суетились чайки. Блестел надраенным никелем бар, выпячивался полками с рядами пустых бутылок в цветастых иностранных этикетках, пачками непродающихся американских сигарет — фантазией тощего, рыжего бармена со взглядом министра. Людей в зале почти не было.

Выбрали столик в дальнем углу зала.

Долго ждали официантку; наконец, подошла, пробурчала абрикосовыми губами: «Могли бы сесть поближе», — приготовилась записывать заказ.

— Бутылку сухого? — спросил я Ларису.

— Нет. Не надо. Лучше лимонад или минеральную.

— Две бутылки лимонада, — сказал я официантке, — и пару пирожных.

Официантка вздохнула полной грудью, бросила на нас зелёный, снисходительный взгляд, как-то ехидно сунула ненужный блокнот в карман передника и важно удалилась.

Мы медленно пили лимонад — делая вид, что утоляем жажду, заменяли разговор мелкими глотками. Я смотрел на Ларису и всё больше убеждался в том, что это наша последняя встреча и между нами давно всё кончилось. На душе стало совсем спокойно, впервые за всё эти годы я ощутил ясность в наших отношениях, ни в чём больше не сомневался.

Лариса поймала мой взгляд, потом посмотрела на пузырьки газа в фужере, спросила:

— Ну, как с учёбой?

— Да ничего, защитился.

— Молодой специалист.

— Можно считать...

— Ну и что ж ты молчишь, не рассказываешь?

— Пью лимонад.

— Это лошади пьют, не отрываясь. Да и лимонада не ведро.

— Хуторские знания?

— Да, научилась кой-чему...

Мы долго не виделись, и рассказать друг другу есть что. Но не было желания. У меня и, наверное, у неё. Всё это звучало бы сейчас как-то лишне, как ненужные, ничего не значащие для нас наслоения на личную жизнь каждого. И ещё, если честно, не хотелось спрашивать — ведь вопросы получались бы только скрепками на листах разговора, которым необходимо заполнить время до отхода автобуса. Словно встретились два случайных собеседника, посидят немного, отдыхая, поговорят о чём придётся и разъедутся каждый

своей дорогой. И я это понимал, но молчание тоже тяготило — не говорить ничего совсем было трудно.

— Ты тоже молчишь...

Она пожала плечами.

— Я, наивный, всё же надеялся, ты приехала ко мне... — Зачем-то сползаю к старому.

— Ты недоволен?

— Это заметно?

— Зачем сейчас что-то выяснять, Володя? — Она снова посмотрела через фужер, повертела в пальцах его тонкую ножку. — Не обижайся, не надо... Всё катится само собой, и я в этом не виновата.

— Кто же виноват?

— Не знаю. Обстоятельства, наверное.

— Когда-то мы собирались не обращать на них внимания... — Нет, всё-таки ужасно сползаю!

— Да, когда-то... Только трудно с ними бороться, Володя... Теперь уже напрасно что-либо менять, да и билет у меня в сумочке.

— Порви его!

— Что это даст?

— Тогда и посмотрим.

— Нет, не могу.

— Это ты как раз можешь!

— Завтра мне нужно быть на работе.

— Ты просто не хочешь...

— Какая разница? Не будем об этом, не надо... — В её чёрных глазах промелькнула мука, но я, полный молодого самолюбия, не хотел ничего замечать. — Расскажи лучше о себе.

— Что рассказывать? — бросил я резко. — Моя жизнь без перемен, и сам я всё тот же.

— Ты так думаешь?

— Уверен.

Разговор рвался, лез вкось, становился напряжённым и трудным. Мы молчали, подбирая слова.

— А как ты? — осторожно спросил я, немного остыв.

— Летаю... Вот на хуторе жила, потом поехала в Кадиевку, сдала госэкзамены. Побыла немного дома, теперь еду в Северодонецк работать. — Она допила свой лимонад, поставила фужер, откинулась на спинку кресла. Её волосы фиолетились, подсвеченные мозаикой, как-то фантастично переливались. — Ты же не захотел приехать к нам в хутор, посмотреть, как я живу...

— Среди коров и кур?

— И среди людей тоже, Володя...

Теперь она зачем-то коснулась старого, я ждал — продолжит? нет? — но Лариса неожиданно встала.

— Пора. Проводи меня до автобуса. Ещё раз прошу, не обижайся на меня...

У дверей автобуса она на секунду задержала свою ладонь в моей руке, крепко сжала пальцы.

— До свиданья... Я тебе напишу. — Потом, подумав, добавила:

— Возможно, напишу...

Автобус ушёл, растаял в знойном мареве июньской улицы. С почти лёгким сердцем я отправился домой.

(Окончание следует)

Виктория Можаева

МНЕ ЛИ БОЯТЬСЯ?..

***

Кружатся звёздочки в лунном луче,
Ангел уснул у меня на плече.
Маленький ангел, доверенный мне,
Крылышки тихо сложил на спине.
Я покачаю тебя, попою,
Я полетаю с тобою в раю.
Если поманят беда и тоска,
Я им скажу: «Обождите пока!
Я родила шестерых сыновей,
Мне ли бояться гвоздей да кровей?»

***

Оно уже не далеко,
То состояние ума,
Когда окажется легко
Открыть пустые закрома,
Сказать: «О, Господи, прости!
Я ничего не сберегла…» –
И просто за руку пойти,
Как в детстве бабушка вела.

Можаева Виктория Валерьевна, член Союза писателей России (1997), поэт. Родилась в 1962 году в п. Поспелиха Алтайского края. Её школьные годы прошли в Барнауле.

В 1983 г. поступила в Литературный институт им. А.М. Горького, который окончила в 1988 году. Автор нескольких поэтических сборников. С 1985 года живёт и работает в хуторе Можаевка Тарасовского района Ростовской области.

***

Мой отец ушёл куда-то,
Многих слов не говоря.
И осталась только дата
На исходе октября.
Осолилась снежной солью
Чернота земных полей,
Опалилось тихой болью
Небо памяти моей,
Озарилось яркой вспышкой
Запредельного огня
И раскрылось тонкой книжкой
На ладонях у меня.

***

На кухне огонёк мигнёт смущённо,
За окнами метели тяжкий вой.
А в доме так тепло и защищённо,
Как будто в рукавичке меховой.
Я в одеяло – мягкое, как кошка,
Укутаюсь сегодня посильней.
Мне снится сон: под соснами дорожка
И женщина, идущая по ней.
Она идёт так радостно и прямо,
Не обернётся, не посмотрит вспять.
И я хочу ей крикнуть: «Мама! Мама…»
Но сон мой обрывается опять.

***

Прожила тётя Валя с любовью
Ко всему, что Господь подарил,
К своему небольшому становью,
Где вставала всегда до зари,
Где согрела живыми руками
Каждый в доме своём уголок,
Нарядила его рушниками,
Обновила и пол, и полок…
Прожила благодарно и чисто
Под портретами мамки с отцом,
И ходила – светла и лучиста
И душою своей, и лицом.
Бог ей скажет: «Иди, золотая,
В те края, где покой и добро…»

И синичка-душа, улетая,
На порожек обронит перо…

***

Сегодня Господь подарил мне с утра
Янтарное небо в конце переулка,
Кленовые листья, ледок из ведра,
Калитку, звенящую, словно шкатулка.
И светом таким, как бывает в раю,
Наполнилось всё, что меня окружало…
И тёмная воля тревогу-змею
Над сердцем моим, наконец-то, разжала.

***

Бывают ли мелодии родными,
И можно ли гулять в них, словно в роще? –
И становиться красивей и проще.
Бывают ли мелодии родными?
И видеть то, что видят только дети,
И слышать то, что слышат только птицы.
В слиянье звуков перевоплотиться.
И видеть то, что видят только дети!
Кленовый лист, пронизанный лучами,
Стекляшку, что как звёздочка искрилась…
Как важно, чтобы это повторилось:
Кленовый лист, пронизанный лучами!
Пускай я стану нотой в партитуре
Симфонии, где сердце заблудилось!
Где народилось – там и пригодилось:
Пускай я стану нотой в партитуре!

***

Я надеюсь, что вам хорошо без меня
В том далёком-далёком, далёком любимом,
Где весёлые капельки бьются, звеня,
О балкон, занавешенный солнечным дымом.
Смоет зимнюю грусть снеговая вода,
Прилетят журавли на весну любоваться…
Это просто мой крест – уходить навсегда,
И, уйдя навсегда, навсегда оставаться.

Татьяна Грибанова

МАЛЬВА

Рассказ

1

Вторые сутки без передыху гуляла у Потаповых свадьба. Степан Семёныч с размахом женил старшего. По всему было видно, невестка пришлась ко двору: пятистенка набита до отказу сватами, кумовьями да сродниками. И для пришедших взглянуть на молодую, а то и подруливших просто ради дармовой выпивки, хозяин расстарался, собственноручно выкатил из-под сарая флягу свойской — угощайся, хуторские, знай наших!

Под грушенку, на сбитые на скорую руку, покрытые нарядными клеёнками тесины-столешницы под командой жениховой тётки Галины беспрерывно метались тарелки и миски с закусью. Никто не остался без угощенья, никто не почуял себя обнесённым на этом широком застолье.

Даже дышащие на ладан бабки Кузьминична с Егоровной не сдержались, порылись в сундуках, вытащили со дна дышащие нафталином наряды: «престоловские» шерстяные подшалки, штапельные, в тёмненький огурчик юбки, обористые завески.

Пригубив по рюмашке «красненькой», спробовали-оценили потаповские щедрые разносолы и, уступив место подтянувшимся, уселись в ожидании на лавку под сиренью — время от времени свадьба выплёскивалась на подворье, гомонился поте-

---

Татьяна Грибанова, член Союза писателей России, поэт, прозаик. Родилась в деревне Игино на Орловщине. Окончила факультет иностранных языков ОГПИ. Работала преподавателем иностранного языка. Автор четырёх поэтических книг: «Апрель», «Прощёный день», «Сказ о Судбищенской битве», «Соль» и книги деревенских рассказов «Лесковка». Печаталась в журналах: «Наш современник», Роман-журнал «XXI век», «Молодая гвардия», «Московский вестник», «Наследник», «Подъём», «Простор», «Родная Ладога», «Народное творчество», «Сельская новь», «Огни Кузбасса», «Лик», «Славянин», «Странник», «Берега»; альманахах:_«Звезда полей», «Новый Енисейский литератор», «Орёл литературный» и др. Лауреат-победитель в номинации «Привет, Россия!» Всероссийского конкурса «Звезда полей» им. Н.М.Рубцова. (2012). Награждена специальным дипломом «Прохоровское поле» за поэму «Судбищенская битва» (2013), медалью Святителя Кукши (за сподвижничество в служении Родине и вере) (2014). В журнале «ДОН_новый» публикуется впервые. Живёт и работает в Орле.

рявший всякую стройность корогод. Гармонисты, сменяя друг дружку, уже путали «Барыню» с «Цыганочкой», и их рядком укладывали в саду на свежескошенную отаву.

Припозднившаяся бабка Мальва угостилась наливочкой, и, прихватив кусок яблочного пирога, отошла к товаркам на лавочку.

В это самое время толпящийся на крыльце люд расступился, и из душной хаты протиснулись молодые. Невеста — девчоночка-девчоночкой, лет семнадцати. Сашке, жениху, — под четвертак, пора уж, пора-а!

— Микитична, сказывают, так и не смирилася, темней тучи! — поспешила сообщить новость подружкам Егоровна, — на порог, говорит, Людку не пушшу, а уж Сашк**а** тем боле!

— И чтой-то она на его узъелася? Вроде, не мозгляк худой… малай, как малай. И Людки ейной не хужей. Всё при ём, — поддержала разговор Кузьминична.

— Дак как жа не осерчать! Вить и взаправду, спозорила девка Микитичну, ой, спозорила-а-а! Брюхо-то — выше носу! Ишь, в белое обрядилася! Какое там белое-то? Стыдоба-а-а! И Микитишне — не запить, не заесть!

— Загундосила! Ну, и что с тово? Что теперя, ай в моток девке сигать? — с обезоруживающей простотой, не дав отвести сплетнице душу, встряла бабка Мальва. — Всё чин-чином... Потаповы от своево дитя не отказалися. И Сашка в ей души не чает, ай, не видно? Сказывают, смертным боем с зареченскими ребятами за неё бился. А ты, девка, — Мальва покачала головой, взглянула, на Егоровну, — язык-то поприкуси, чужим грехам счёт не веди… В пору бы свои не забыть… да успеть отмолить. Нечево девку хаить! Разуй глаза-то: с головы до ног счастливая, вишь, как сияет… ажни слезой меня, старуху, прошибло… Прямо из себя выводишь! Запамятовала, стопроцентовая девушка, как со своим Прошкой стакалась, во скоко годиков ворота ему отворила? Кажись, нам с тобой, подруга не боле, чем Людмилке было, када я коло вашего сенника в сторожах сидела, а ты с Прошкой миловалася… када он тебе Серёжку-то скоростелил!

— И-и-и! Нашла об чём вспоминать-то! — отбоярилась с ухмылкой, замахала руками Егоровна. — То в какие годики было?!

— А и правду, что теребить-то теперя, бабоньки? У меня и самой, может, рыльцо в пушку. — Мальва встала, не оглянувшись на ошалевших товарок, оправила юбку и пошагала к крыльцу, дав понять, мол, не о чем тут и говорить боле.

Протиснулась сквозь свадёбных, поклонилась молодым за угощение, нажелала им три короба добра и потопала к воротам.

…А вот уснуть бабке Мальве так до самого свету и не удалось. Нахлынуло-о!

2

Род Силиных испокон веку жил на хуторе Степном, в двух верстах от Козловки. Прапрадед Лёхи, мужичок оборотистый, выкупив вольную у барина Козюлеева, поселился на заброшенном суглинке, заложил недалеко от деревни хутор.

Сколько годков минуло с тех пор! Сколько вёсен талыми снегами сшумнуло в Кому-реку! Сколько трав полегло под литовками Силиных на пойменном лугу, сколько журавлиных косяков откурлыкало над разросшимся в дюжину дворов приречным хутором, в котором все — Силины. Все — родня!

Лёхин отец, Павел Семёныч, осенью сорок первого, не успев допахать под озимые, прямо с поля ушёл на фронт. В составе первой гвардейской танковой Катукова вошёл в Берлин. Не раз со своей машиной горел, но Бог миловал, вернулся — грудь в орденах — с осколком в лёгких, но живой.

А в сорок шестом, под зимнего Николу, за ситцевой занавеской бабка Авдотья приняла на руки его первенца, названного в честь пращура, хозяина хутора, Алексеем. Через пару лет Господь послал и дочку Светланку.

В послевоенные годы, устроившись в МТС, Павел Семёныч перепахал холмы и взгорья на сотни вёрст в округе. Светланка при мамке, а Алёшка, перекинув в сумке учебники, мчался к отцу на пахоту. Тот и рад — сын к делу тянется. «Тракторист из тебя, Лёха, — что надо, — подбадривал Семёныч мальчишку, — машину чуешь, это — главное! А сноровка, — она с годами проявится».

Пришли и сноровка, и хватка. Лёха с завязанными глазами мог разделать под орех, в пушинку, любое самое заковыристое поле. Да и служба в армии (в танкисты, по батиным стопам, напросился) дала не мало мужицкой закалки.

Хуторские Силины извечно приводили жён из окрестных деревень.

Пришёл срок, заженешился и Алексей: с вечера начистится, нагладится, чуб зачешет, и — в Козловку, в клуб.

— Ты уж гляди там, сначала головой думай, опосля другим местом! — поучала вослед мать, Александра Тихоновна.

— Ну, ты и даёшь! — отмахивался Лёха.

— Чего «даёшь», чего «даёшь»? — не отступала напористая Тихоновна, — знаем мы вашего брата!

Как в воду матушка глядела…

Служить уходил, Машка Спиридонова — малявка малявкой, он и внимания её не удостаивал. А, вернувшись, появился первый раз на танцах, — сразу на девчонку глаз и положил. Очень уж приметная: норовом бойкая и с виду — что надо. Статная! Платьице в оборочку, косынка по плечам розовая.

Котька, дружок закадычный, подтрунивал: «Зря не пялься! Малолетка, только из школы. Да и в техникум собралась. Такую вожжами не удержишь. Кобылка не объезженная, норовистая!»

Но так уж, видно, стало Богу угодно: приглянулся девке армеец (Лёха всё ещё в форме расхаживал: старшиной не каждый домой возвращается). Сама подошла… А как к такому не прикипеть? Сажень косая в плечах, на турнике за клубом такие фортеля выкидывал, никому не под стать.

Как-то сговорилась проказница с гармонистом, дедом Степаном: только Лёха на порог, а она — в круг. И пошла! Да с выходкой, да с дробями. Косыночку за спиной, что касатка крылышки, раскинула, натянула, вот-вот взлетит! Плясала-порхала по пятачку, а потом остановилась против Лёхи да давай частушками заковыристыми сыпать, паренька подшкеливать. Как, мол, перебьёшь мои дробиночки?

Как за речкой за Кромою,
Где черёмуха цвела,
Начались у нас с тобою,
Друг, сердешные дела.

Лёху голыми руками не возьмёшь! Вихрем с места сорвался, руки за голову, и вокруг танцорки — гоголем, да в присядку, только сапоги в перебой с девчоночьими каблучками спорят, поскрипывают. И язычок — не обрежься:

Взял бы я тебя на ручки,
Посадил тебя на печь –
Таких девушек красивых
Лучше дома приберечь!

Напирает Лёха на Машутку, кружит, передыху не даёт.

А та — носик к верху, головку чуть в сторону, струна струной, аж звенит! Даже росточком повыше стала. Воссияла — маков цвет. Руками повела, раздвинула коргод.

— А ну, шире круг, мы тут надолго разошлись.

— Держись, забияка, поглядим кто кого!

— Гляди, да глазки не поломай! Допляшешься! — послышался голос из толпы, — присушит девка, век под её дудку плясать станешь!

А Маша не смолкала:

На Святой неделюшке
Повесили качелюшки —
Сначала покачаешься,
Потом и повенчаешься!

— Ну, это мы ещё посмотрим! Ишь, чего захотела!

Не плясали, а разговаривали, не разговаривали, а договаривались. И не было сомнения у глазевших: пара! Ещё какая пара! Смотреть, не оторваться.

И танец не закончился, а уж Маша с Алексеем понимали: запыхаются эти перегонки, выйдут они за порог клуба и никогда не разойдутся их стёжки. В тугой узел связала их эта пляска, оттанцовывают последние холостяцкие деньки.

Июньская ночь, неспелая, нежная. Густо пропахшая доцветающей сиренью, ароматами молодой, ещё не пропылённой листвы, духом входящих в сенокосную пору луговых трав. Светло даже в такую глухую пору. Машутка с Лёхой, обойдя не раз закоулки деревушки, наконец-то, добираются до крайней хаты. Вдали, сквозь тончайшую кисею тумана, проглядывают заросли черёмух, скрывающих Лёхин хутор.

— Пора, а то, глядишь, и до дома тебя допровожаюсь, — замечает Маша и поворачивает обратно.

— Ну, ещё чуть-чуть, — принимается уговаривать девчонку Лёха, и усаживает на лавочку у Котькиного палисадника.

С Котькой Смирновым они не разлей вода. И под кручу за пескарями вместе; и в школе за одной партой; и поглазеть из лозняков на девчат, что плещутся нагишом после покосов на омутке; и повсхлипывать друг у друга на плече от лозинки Силина-старшего, не спускавшего эдаких проделок ни своему отпрыску, ни сынку друга Михаила, погибшего в далёкой Польше, на подступах к Кракову.

Но сейчас Лёха помнит, что шалопаистый товарищ его в одиночку отправился на Чупаиху, в другой конец деревни, до самой зорюшки промилуется с какой-нибудь очередной любовью.

Оттого ли, что Лёха знает: вокруг — ни одной живой души, а, может, оттого, что Маша, доверившись ему, забрела чёрт те знает куда, сердце парня, выпархивает из-под гимнастёрки, не удержать.

— А как Архиповна выглянет?.. — косясь на окна, настораживается девчонка.

— Не боись, куда ей! Обезножила тётка Марья. Неделю, как у дочери обретается. Котька один свирепствует. Архиповна полезла в сараюшку на сеновал — гнёзда куриные обобрать, а верхняя ступенька у лесенки возьми, да и обломись. Яйца, что в фартуке придерживала — вдрызг, и тётка помялась — нога в гипсе. Котьке, конечно за недогляд всыпала, лесенку-то ещё дядька Михайло сработал, подгнили перекладины.

— Котьке твоему, что племутруку племенному, не до хозяйства. Кто ж заместо него девчат по углам тискать станет? Без такого ухаря, с тоски поумирают.

В росном палисаднике гремит соловей. Золотые жуки-светляки фланируют в зарослях мальв. Их безудержное цветение всегда совпадает с самыми пугливыми, са-

мыми короткими ночами, когда на прозрачном, едва притухшем небе до мельчайших подробностей просматриваются горние вершины облаков.

— Небеса-то какие улыбчивые, — Маша кивает на бирюзовую, так и не соскользнувшую с горизонта, зарю.

— За нас радуется, не тает… переживает: ночь промелькнёт… а я тебя и не поцеловал, — Алексей пытается обнять девчонку.

— Вот ещё! — фыркает девушка. Вскакивает, отбегает в заросли палисадника.

Мальва, как есть — мальва! И впрямь приворожила. А стан! Крепкий, тугой, того гляди, платье по швам разойдётся. Не смотрит, а брызжет влажным огнём насмешливых глазищ.

— Почему тебя Мальвой не назвали? Такая же стройная, такая же…

— Какая такая?

— Настоящая, — смущается Лёха.

Лунная дорожка, сходящая в палисадник, тянется к реке, вдогонку за выскользнувшей Машей. Над кустами ивняка мелькает газовая косынка, а парню чудится: невидимый ветерок, расхулиганился, оборвал, подхватил перламутровые мальвовые лепестки и закружил над поймой крошечным ярким пламенем.

Убегает Машутка от Алексея и не ведает, что стремится ему навстречу… навстречу своей судьбе.

3

От неожиданности она резко останавливается. Котькина баня так обросла ивняком, что мало кто и помнит о её существовании. Сбегающая к реке стёжка вдруг упирается в её замшелую стену. Откуда может девчонка с дальнего урынка знать об этой ветхой баньке?.. Ноги сами привели.

Лёха, спускающийся вслед за Машей, загодя готовя для себя оправдание, шепчет: «Видать, судьба… от неё не увернёшься». Знала бы ступившая на эту тропку Маша, сколько девчоночьих и Котькиных тайн покрывают брёвна старой баньки. Леха догадывался, но никогда не расспрашивал своего друга о его сердечных похождениях.

Смекнув, наконец, что забрела невесть куда, да и вообще, зашла для первого вечера с этим армейцем слишком далеко, Маша, зная, что следом спускается Алексей, сворачивает напрямки, через краснотал, но спасительную лазейку, предвидя девичью хитрость, перегораживает предусмотрительный Алексей.

— Ну, что ж забоялась? Такая смелая, а тут струхнула? — Лёха понимает: не будет напористым — навсегда упустит шанс, который предоставил, может быть, сам Господь, — упорхнёт девчонка в город, там ребята шустрые, не прозевают, в миг окрутят, мимо такой попробуй пройди.

— Ничего не струхнула, — щёки девушки охватывает нарастающий пожар.

Лёха подступает совсем близко и сгребает девчонку в охапку.

— Дурочка, ты моя, успокойся. Не обижу.

Маша пытается вырваться, но где ей справится с такой силищей!

— Не дёргайся, сказал же — не обижу… Нравишься ты мне… очень… Скажешь: не люб, — сам отпущу и ни в жисть не подойду.

Алексей склоняется и первый раз за вечер целует Машу в губы.

От дерзкой девчонки, смело подковыривавшей его пару часов назад при всём честном народе, можно ожидать чего угодно: такая и драться кинется — не моргнёт, а уж оплеухой одарить — плёвое дело, в конце концов — может и раскричаться, голосище-то вон какой звонкий.

Но то, что девушка протянет и нежно положит дрожащие руки на его плечи, сначала робко, а потом с нарастающей страстью станет отвечать на его ласки, Алексей наверняка не мог предвидеть.

Уже зародившееся, но тщательно скрываемое чувство этой совсем ещё юной девушки вдруг прорывается, выплёскивается, устремляется навстречу ошеломлённому парню, окрыляет его, и он, оторвав Машу от земли, не переставая целовать, кружит вместе с нею на тесной лужайке.

— Я и сам струхнул, прямо земля с-под ног уходила, весь вечер не знал, как подступиться… уж больно озорна, — признаётся, смущаясь, Лёха.

Маша ничего не отвечает, молча обнимает его, и теперь уже сама жадно целует. Долго, ненасытно, словно измучилась, дожидаясь этой ночи.

Так и стоят, крепко прижавшись друг к другу час, а может, два. Кто считал-то? И целуются, целуются…

Наконец, Лёха чувствует, что руки его, блуждая в шелках девичьего платья, перестают встречать препятствие, и мягкие, податливые девичьи губы, раскрывшиеся лепестки мальв, распухают от поцелуев. А груди — эти, ещё никем не тронутые, наполненные ароматами молодости и свежести цветочные бутоны, напрягаются и замирают. Алексей на мгновение, всего лишь на мгновение, отстраняет Машу, чтобы только взглянуть в её горящие глаза, увидеть подтверждение, не ошибается ли в своих догадках, и тут же тонет в их омутах навеки вечные.

— Идём, — уверенным движением Алексей берёт девушку за руку.

Она не отдёргивает, не капризничает, а так же уверенно ступает в отворённую парнем дверь.

С детских лет банька эта — потаённое место двух закадычных друзей. Лёха знает: протяни руку на полочку у правой притолоки — тут же нащупаешь спички да парочку свечных огарков. Но к удивлению, Котька обустроился за время Алексеевой службы основательно. В полумраке рядом со спичечным коробком парень обнаруживает керосиновую лампу. Хмыкает: «Запасливый чёрт!»

Маша проходит к полка?м, присаживается. В полумраке лица не разглядеть, свет керосинки, проникающий сквозь приоткрытую дверь предбанника, ластится на её высокой груди, перебирает перламутровыми пуговичками. «Попробуй, доберись! Что кнопок на гармони », — дивится Лёха.

— Фитилёк–то притаи, — шепчет Маша, пододвинувшемуся парню.

— Что ж это я!.. Погоди минутку, щас! — спохватывается тот, и кидается к двери. На боку баньки, на скобке, — литовка, Лёха не раз помогал другу смахивать приречный лужок.

Через пару минут он уже возвращается с увесистой охапкой полусонных одуванчиков. Керосинка еле тлеет, войдя с широкого лунного света, парень на ощупь проходит к полкам, раскидывает траву. Обвыкаясь глазами, тянется к Маше, и вдруг настороженный слух отчётливо улавливает, словно сыпанул кто на прожаренные банные половицы пригоршню каляных переспелых горошин — щёлкают, подскакивают под ноги, не удержавшиеся от девичьего порыва пуговицы…

— Погаси, погаси лампу-то! Ну её к лешему! — шепчет девушка.

Луна переваливает за крону высоченного осокоря, приютившего забытую всем миром баньку. Бледный незабудковый свет просачивается сквозь отзынутую дверь.

— Ишь… подсматривает! — то ли шутит, то ли обижается Машутка.

Прикидывает наготу измятой их жаркими телами травой, словно прячется в сатин матушкиного лоскутного одеяла.

Тянет молоком свежескошенной луговины. Но к знакомому с малых лет духу июньских трав примешивается новый, неведомый ранее томно-сладостный, горьковато-солёный — аромат любви. Пропитывающий насквозь, проникающий в каждую клеточку, дающий право с этой ночи ощущать себя не только женщиной, но ещё и

счастливой из счастливейших. А самое главное — мамины упреждения и разговоры «об этом» с глазу на глаз остаются где-то далеко-далеко, в отлетевшем девичьем девичестве.

И ненасытные губы, и всё еще по-детски нежные, незагрубевшие, покрытые мелкими прозрачными солоноватыми бисеринками сосцы, и изласканные до хруста в косточках, до последней мочушки, плечи, и, наконец-то, расслабившиеся крутые, с чуть приметными ямочками, бёдра девушки, перепачканные, забрызганные терпким и горьковатым соком измятой зелени — не дают покоя неугомонному Алексею.

Есть среди густых ароматов этой чудной ночи тончайший, едва уловимый, до головокружения заманчивый — запах мальвы, запах юного девчоночьего тела, впервые познавшего мгновения плотской любви. Он будоражит и влечёт, неотвязно манит и зачаровывает, вспенивает и взметает в Лёхе безудержные волны желания обладать этой потрясающей девушкой вновь и вновь, пока не обмелеют все реки, пока не иссушаться все родники его страсти.

— Это когда ж такие отрастить успела, между алгеброй и физкультурой что ли? — подшучивает Лёха, выразительно посматривая на раннеспелые, не по-девичьи броские Машуткины груди, наливными яблоками закатившиеся в сомлевшую зелень.

— Всё просвирник-секретник, мальва твоя разлюбезная… Как собралась Валюшка Тимонина замуж, так скорей — к бабка Куделихе. Та и давай взвары плоскогрудой Валентине стряпать. Валюшка-то по секрету сказывала: зальёт старая ложки три сухих корешков просвирника тремя стаканами ключевой водицы, и кипятит в саду на каменке минут пятнадцать. Процедит. Пошепчет, конечно, не без этого. И пей, милая, по полстакана три раза в день до еды. А коль на ночь из того же взвара компрессы на грудь не позабудешь — так откуда что возьмётся. Валентина уж третьего выкармливает. А всё — мальвочка-просвирочка, спасительница бабья. Мы, малкосня, не ведая, отчего красота девичья зреет, днями просиживали в зарослях мальвы, в куколки играли, «пуговки царские» собирали. Приладишь к распущенному венчику-юбочке бутончик-головку — и пупсик готов. Наиграемся, крошечных пышечек-просвирок, помнишь, калачики такие в пазухах листьев запрятаны, наедимся, и домой не торопимся, просвирками сыты. А то надерём их в подол, и ну проставляться, во что-нибудь на них играть. Победителю — общая куча калачиков. Я заводная, везучая, ловкая. К вечеру, бывало, набью карманы сладковатыми пуговками — и домой. Мама только подтрунивает: «Самая девчоночья еда! Щёлкай, девонька, проскурки-лапышки на здоровьице! И конфет не надо!» Ириски, да и только — клейкие, склизкие, сладковатые… Вот и нащёлкалась, налакомилась на свою голову, — стесняется Маша, косясь на свои достопримечательности.

— Да что ты! Красотища-то какая! Такое достояние беречь-лелеять надобно!

И Лёха в который раз склоняется к любимой, играет тут же откликнувшимися, вздрогнувшими сосцами, губами собирает и откидывает былинки, — грех скрывать за ними такое великолепие!

Одним небесам ведомо, как и откуда возникает настоящая любовь, и что приносит с собой…. Рядом же с этой девушкой Алексей вдруг почувствовал: что-то в нём напрочь изменилось, исчезла вольная бесшабашность, и он уже никогда не сможет быть с другими. Лёха словно разом определился: вот она, единственная и незаменимая, и не надо больше никого искать, всё в ней одной слилось. И чувство это поглотило парня настолько, что уже и не сомневался, — Маша предписана ему судьбой. С нею хотелось быть единым и в жизни, и в желаниях, и в молитвах. Всё: и этот задиристый, чуть опалённый июньскими покосами носик, и распадающаяся на двое, непокорная чёлка, и крепкие икры длиннющих ног, и исцарапанные колючками неспелого крыжовника, спешно прибирающие раскидистую косу руки, — вся она, весь вид её будоражит и будит в нём живой отклик. Собирает и подтягивает его,

окрыляет и призывает цвести. Алексею повезло, любовь его осветил сам Господь, своею искрой воспламенил желание служить этой женщине, жить только ею.

А Маша настолько счастлива, что пока ещё и не может осознать, широту захлестнувшей её любви к Алёшке Силину.

4

Прибравшись, наспех отыскав раскатившиеся пуговицы, притворив двери баньки, оставив в её памяти тайну промелькнувшей ночи, Лёха с Машуткой сбегают в пойму.

Оросившийся рассветными туманами шелковисто-лёгкий лик неба постепенно перетушёвывается в бледно-лиловый, с едва лазоревым бахромчатым краем над восточным окоёмом, над правобережными заливными лугами.

На душе у Алексея легко и просторно. Невесомы и широки, безбрежны небеса.

Маша, прикрывая пустые петельки платья, завязывает на груди широченным бантом прихваченную (теперь уже из девичества) косынку.

— Пора, Лёшенька, мамка теперь задаст!

— Какая мамка? Ни на минуту не отпущу!

Когда влюблённые выбираются на просёлок, над округой зацветает заря. В ранней лазоревой вышине расползаются тончайшие белесые линии. А когда Силин хутор, выглянув из-за Черёмухова овражка, оказывается, как на ладони, молочные линии на знойком небе, словно на ясном морозном окне, принимаются играть — обрастать перьями и коготками, всевозможными былинками и муравками. Ближе к горизонту выстраиваются в башенки и хребты, перепутываются и снова выстраиваются в звенья. В отсвете выкатившегося жемчужного шара порхающие перистые облака отбрасывают на землю серебристый блеск. И Алексею чудится, что Маша, его Мальва, в своём шёлковом, отливающем неземным блеском платье, сошла с этих великолепных небес.

Тихоновна, спровадив Красавку в росы, ещё издали заприметила своего Алёшку. Только с кем это он?.. Ай, Петра Спиридонова Машутка? Так и есть. «Ах, ты, Боже мой, ить девчушка совсем, — всё поняло, заволновалось материнское сердце, — а, может, оно и к лучшему… вроде, не слыхать об ней ничего хульного, не разбалованная… да и ладненькая… внучонков таких же принесёт!»

— Здравствуй, мама… Красавку свела? — захорохорился Алексей.

— Здравствуйте, тётя Саша, — зарумянилась Машенька.

— Дак, какая уж теперя «тётя»? — досмотрев пустые пуговичные петельки, покачала головой Александра Тихоновна. Разом отрезала, — дочкой, небось, пришла? Мамкой и зови… Отоспитесь, — кивнула Алексею на сеновал, где он всегда ночевал летней порой, — опосля и потолкуем.

Только часа через три, когда сквозь щёлки тесовых стен сараюшки просочился запах пирогов, Маша с Алёшкой опомнились, — есть, страсть как хотелось.

— Ну, в сарайке не отсидишься… Родные мои, хоть и нраву крутого, но отходчивые, — успокаивал любимую Алексей, — да и меня знают: коли привёл, значит, не отступлюсь, лучше миром поладить.

А Тихоновна и не думала фордыбачиться. Пока молодёжь досыпала, умаслила расшумевшегося было мужа, приняв на себя первые громы.

Наспех обрядившись в чистое, сбегала на Козловку, мол, к Валентине Сорокиной, товарке своей, поспрошать, как это та настрогалась без опары такое пышное тесто заводить, а заодно через забор потолковать и с Катериной Спиридоновой, Машуткиной матерью. Хватилась, небось, девки-то!

— Как, Катюш, поживаешь? — зашла обходным путём Тихоновна. — Картохи-то, у вас, гляжу, дружно цветут. Огурчики ранние не пошли?

— Да что ты, Шура! Только плети раскинули, недельки через две, не ране.

— Как сама?.. Как детки? — приближалась к причине своего визита Лёхина матушка.

— Пояснику было разломило, да к Куделихе Машутку спровадила, та какой-то мази злющей… чай на тараканах да пиявках насуропила, отлегло… А ребятишки… что им поделается? Дрыхнут в светлице… Пока под мамкиным крылом, отсыпаются.

— Все ли под крылом-то? — улыбнулась Тихоновна. — Может, кого не догляделa, наседка?

Катерина насторожилась, резко двинулась к хате. Откинула занавеску распахнутого окна. Заглянула внутрь и в недоумении оглянулась.

— Ты, Шура, не ходи колесом, давай напрямки.

— А я уж битый час пытаюсь намекнуть, да всё не получается: сватов на Петров день встречайте, у нас дочка-то ваша. Так-то вот: была ваша, стала наша, — хихикнула Тихоновна, но, сжалившись над остолбеневшей, — с сердцем добавила, — да не кручинься ты, Кать, — Алёшка у меня сговорчивый, жить станут ладно, да и добрый он, комара не пришлёпнет, а уж дочку твою, коли сам привёл, пальцем не тронет… Да и мы с Пашей супротив их счастья не станем… Ну, так готовсь к воскресенью-то, — с тем и отбыла.

А Катерина ещё долго не могла сдвинуться с места. Опомнившись, рванула в Лисий ложок, огорошить мужа, отправившегося спозаранку на косовицу. За не близкий путь успела и погрозиться, пускай, мол, только явится гулёна; и напричиталась вдоволь, а уж когда до своей делянки добралась, весь пыл сошёл.

— Радость-то какая, Вася! Машенька с Лексем Силиным поладили. Шура намекнула, на Петровки сватов, мол, дожидайтеся, — и, не давая опомниться Василию, заключила, — ну, и ладно… ну, и хорошо… парень-то он знатный. Дай-то Бог!

А Тихоновна в это время потчевала будущую невестку пирогами со щавелем. Алёшка понимал, коли мамка пироги затеяла, значит в духе (к тесту без настроения не притрагивается), а значит, всё у них с Машей будет хорошо: и отец перестанет серчать «за скороспелость решения», и предстоящее сватовство, как по маслу пройдёт, и если подсуетятся, глядишь, до Успенского поста со свадьбой управятся. И заживут они с Мальвой!..

И зажили б,.. если бы аккурат после уборочной на вспашке зяби в Кривой балке не напоролся бы Алёшка Силин на столько лет дожидавшийся своего часа противотанковый снаряд…

Но Господь не оставил молодую вдову без милости, обласкал, и на Алексея Вешнего Мальва благополучно разрешилась сынком Лёшенькой — кровинка к кровинке в папку.

…Светало. Бабка Мальва, так и не сомкнувшая за ночь глаз, раздёрнула кухонные занавески. Вдоль улицы, со стороны Потаповского двора, шли припозднившиеся пары. Свадьба только-только начала затихать.

Александр Винничук

КИПЕНЬ БЕЛАЯ

***

Земля стоит в морозном исступлении,
Плывёт Луна, небесный круг деля…
Не оттого ль – поставит на колени
И тех, кто свой выпестывает гений,
И тех, в ком сила – верный спутник зла,
Жизнь, гибельность смиренных отречений,
Жизнь – пропасть, от которой нет спасенья, –
Коварная, как счастье, как хвала!?..

Нет ни души, но, будто от мороза,
Зажглась свеча, и с тела валит пар…
Не оттого ль – я должен стать серьёзным,
Идти тропой и, посмотрев на звёзды,
Сказать, что мир – всего лишь морок, шар,
А значит, что мне – сны, мечты и вёсны,
Что – строчки скомканные, счастье, слёзы? –
Так, только кипень белая, а дальше – ночь, провал?..

На этот день нас больше не обманешь –
Пускай мы лишь цветы, растущие во тьме,
С её зияньем, холодом, туманом,
С таинственной игрой воспоминаний…

Винничук Александр Александрович, кандидат в члены Союза писателей России, поэт. Неоднократно публиковался в периодической печати. Лауреат премии Губернатора РО «За творческие достижения» (2013). Аспирант Южного Федерального Университета. В журале «ДОН_новый» публикуется впервые. Живёт в Ростове-на-Дону.

Со всем, что только и осталось мне.
Каких миров, каких легенд я странник?
И кто меня печатью угасанья
В тугую клетку запер на Земле?..

***

Накрахмалилось серое облако –
В небесах, как подкова, висит.
То, что здесь, на земле, ему – побоку,
Но как будто со мной говорит:
«Жить, браток, надо просто и радостно,
Без истерик и муторных драм;
Любоваться изменчивой радугой,
Улыбаться весне и цветам…»
Отвечаю ему с удивлением:
«Жизнь на то, говорю, мне дана,
Чтоб бороться с высоким давлением
От любовных страстей и вина!»

***

Точно только во сне и кончаются
Беспокойной судьбы виражи,
Бытие еле слышно качается –
Тихий маятник тёмной души.

Так и тикает время к забвению
В этом Богом забытом краю…
Но в сокрытом от нас измерении
Я бессмертен, как ангел в раю.

***

На перламутровое небо
Упала сонная зарница
Жемчужинкой – седая капля! –
В лучи закатного светила;
В преддверье чёрного Эреба
Всё, что потом в ночи приснится, –
Заката солнечная пакля
В щелях небесного настила.

Три цвета: синий, жёлтый, красный –
Легли, густым мазком, на стёкла…
Льняные дхармы прошлых жизней
Припоминать душа устала:
Ультрамариновая краска,
Цвет бирюзы и жёлтой охры –
По дню умолкнувшему тризна,
Как на гравюрах Хокусая…

Ксения Баштовая

ПАРТИЯ

Рассказ

...Ыыргх сам загнал буйвола, но воспользоваться победой не сумел. За мгновение до того, как воин огласил лес победным криком, Айхт, подкравшийся сзади, меланхолично опустил ему на голову каменный топор...

...Джон Смит сцепил пальцы замком и с довольной усмешкой откинулся на спинку кресла. Ну вот, ещё один конкурент передан в заботливые руки налоговой полиции. И кому какое дело, что сам подсказывал «конкуренту», что и как делать? Ничего личного, Алекс, это бизнес...

...Узкий клинок вошёл в спину чуть ниже лопатки. Франсис брезгливо вытер нож об одежду. Что? Благодарность? Мол, ныне почивший виконт помогал Франсису, и даже пару раз спас ему жизнь... Ох, не смешите...

— Может, ещё одну партию? — несмело поинтересовался блондин.

— К чему? — усмехнулся брюнет. — Этот человек — предатель! Сколько бы ты шансов на перерождение ему не давал, он будет снова и снова... А последняя его жизнь? Этот Франсис... Ты поместил его в идеальную среду для того, чтобы он стал честным человеком. Дал ему буквально всё: деньги, уважение, статус... И он всё равно пошёл по трупам. Заметь, я ходил только пешками, не сдвинул ни одной действительно сильной фигуры. И результат? — брюнет подхватил со столика, одиноко парящего рядом небольшой кувшин, налил себе вина... и покосился на соперника:

— Будешь?

Баштовая Ксения Николаевна, член Союза писателей России (2013), прозаик, автор шести книг прозы и трёх — в соавторстве. Секретарь правления Ростовского регионального отделения СП России (2014) Лауреат премии Губернатора РО «За творческие достижения». Закончила юридический факультет и факультет журналистики ЮФУ, работает адвокатом. Живёт в Ростове-на-Дону.

— Да, пожалуй, — кивнул блондин, устало массируя ноющие виски. — Ну... Может, ещё раз, а? Дадим ему последний шанс!

— Ох... Выбирай доску для игры.

Блондин неспешно отпил из бокала на высокой витой ножке:

— Земля-13, пятнадцатый-шестнадцатый век.

— Глупо! — хмыкнул брюнет. — Зачем тебе тринадцатипроцентное отличие от оригинала? Давай играть на реальности.

— Ты ведь сам предложил мне выбирать время и место!

— Ох, братишка, ты не исправим!

Граф де Брани подобрал Артуро около полугода назад. Началось всё с того, что четырнадцатилетний мальчишка, называвшийся внебрачным сыном мелкопоместного провинциального дворянина, сбежал в столицу, надеясь найти там свою судьбу. Неизвестно чем бы поиски судьбы окончились, и вполне возможно, что Артуро, благодаря своему длинному языку, словил бы в каком-нибудь трактире нож под ребро, но... Бойкий мальчишка, одетый в более ли менее богатую одежду, да ещё и таскающий с собой заржавевшую шпагу (Артуро утверждал, что она досталась ему от отца, чьё имя мальчишка наотрез отказывался называть), с которым граф столкнулся на одной из узких улиц Тариша, чем-то приглянулся сьеру де Анкарте и тот... сделал мальчишку своим пажом. Конечно, обычно на подобные места берут тех, чей род более ли менее именит, но кто знает... Вдруг Артуро не врёт?

— Всё как обычно, — хмыкнул брюнет. — Белые начинают. Хотя я не уверен, что выигрывают… Мой ход?

И он неспешно сдвинул чёрную пешку.

Главным недостатком графа де Брани сьера де Анкарте был его неугомонный характер. В свои двадцать пять лет он уже успел скрестить шпаги в полусотне дуэлей (кстати, запрещённых королевским указом), поучаствовать в корсарских нападениях на тишпанские корабли (кто сказал, что это занятие недостойно дворянина?!) и войти в свиту герцога Иланзонского. Но особенной его страстью были прогулки (в гордом одиночестве, без сопровождения друзей или слуг) по ночному Таришу. Столица всегда была, мягко говоря, не особо благополучным местом. Тут можно было натолкнуться и на грабителей, вышедших на дело, и попасть под ночной налёт горгулий, но... Графа это не останавливало. Как и появляющиеся после подобных «вояжей» новые ранения.

Ход белых.

Но в эту ночь сьер де Анкарте решил взять с собой Артуро...

— По-твоему, это — нечто положительное? — расхохотался брюнет. — Братец, ты меня удивляешь! Я уже добрую сотню лет как не играл в поддавки, и вдруг...

— Не спеши с выводами, — отрезал блондин. — Лучше ходи.

— Н-ну, как знаешь...

На двух прохожих в городе напали неожиданно. И было нападающих не меньше десятка. Благо, городская стража до этих переулков не доходит...

Тени, закутанные в тёмные плащи, блеск клинков, тишина, разрываемая лишь хриплым дыханием...

— Вот и всё! — рассмеялся брюнет. — Мальчишка сейчас сбежит. Это его судьба! Предательство — вот его жизнь!

Блондин молча сделал очередной ход.

Граф де Брани был умелым фехтовальщиком. Но одно дело, когда бой идет один на один, и совсем другое, когда атакуют со всех сторон...

Новый выпад, и по цветному колету расползается кровавое пятно...

Но, если Смерть уже заглянула в твои глаза, не стоит забирать на тот свет и того, кто попал в эту передрягу по твоей глупости!

Хотя Артуро и умеет держать шпагу в руках, это не значит, что он сможет выстоять...

— Уходи! — выдохнул граф, отбивая очередной удар, направленный в сердце.

— Забавно, — позволил себе тонкую улыбку брюнет. — Или ты думаешь, что предательство, совершённое по приказу, уже таковым не является? Боюсь... Мои... подчинённые... с такой точкой зрения не согласятся и будут просто счастливы принять этого... вьюношу... Кстати, добавим чуть-чуть страха...

Ход конём через пешки.

Сердце колотилось, как бешенное. Если сейчас убежать... Можно, есть такая возможность, и приказ был...

Мальчишка медленно отступил в темноту...

Брюнет со вздохом откинулся на спинку кресла:

— Вот и всё! Я с самого начала говорил, что последний тур бессмыслен, но ты же по-прежнему веришь в доброе начало в людях! К чему? О, Несущий Имя Его, к чему?

— Но ведь партия ещё не окончена, не так ли, Лучезарный?— заломил тонкую бровь блондин.

Силы были не равны. Сьер де Анкарте уже потерял счёт пропущенным выпадам. Перед глазами плыло... Ещё чуть-чуть и...

Городская стража всё-таки прибыла... Полдюжины военных разогнали отрепье, решившее поживиться за счёт дворянина, невесть как забредшего на эти пустынные улицы...

Уже теряя сознание и падая на землю, сьер де Анкарте услышал срывающийся голос Артуро:

— Милорд, прошу вас, не умирайте! Милорд!!!

— Надо же... — удивлённо протянул брюнет, — мальчишка побежал за городской стражей?! Поздравляю, ты победил! — в его голосе не было ни малейшего намёка на зависть проигравшего.

— Спасибо, — улыбнулся блондин. — Ещё партию?

— Почему бы и нет! — рассмеялся брюнет, расставляя фигуры на шахматной доске. — Только на этот раз я играю белыми!

ОЛЬГА ГУБАРЕВА

РЫБАЛКА

На рыбалку, на рыбалку
Мы идём в Козлову балку –
Где сквозь синь воды видны
Чебаки и сазаны.

Нас идёт к реке немного:
Саша,
Петька,
я,
Серёга,
Ваня,
Коля,
дед Федот
И ничейный рыжий кот.

Все мы встали спозаранку,
Червяков набрали в банку
И, довольные собой,
К речке двинулись гурьбой.

И для нас вопрос не новый:
Почему зовут Козловой
Эту балку у реки,
Где жируют чебаки?

Там – гроза друзей рыбалки –
Два козла пасутся в балке.
А рога у них – остры,
А глаза у них – костры!

Но ведь нас шагает много,
Потому легка дорога.
Не боимся мы врага!
Что – глаза нам! Что – рога!

Вот уже и речка рядом,
Вот уже – шуметь не надо…
Мы зашли за поворот…
Вот…

Мчим назад, сбивая ноги, –
Саша,
Петька,
я,
Серёга,
Ваня,
Коля,
дед Федот…
А впереди несётся кот!

Губарева Ольга Ивановна, член Союза писателей России (2001), поэт, прозаик. Автор нескольких поэтических и прозаических сборников. Живёт и работает в п. Сандата Сальского района Ростовской области.

Светлана Вьюгина

МОРСКИЕ РАССКАЗЫ

ЗОЛОТАЯ СЕТЬ

Хорошо сидеть вот так, вытянув ноги, на мокром песке и глазеть на бегущие к берегу волны… Одна волна догоняет другую, а её, догоняющую, вот-вот шлёпнет по спине ещё одна…

Шипучая пенная вода щекочет Вадику пятки, добирается чуть ли не до самого его песчаного креслица, замирает ненадолго и снова уползает в море…

Вадик не оглядывается, но точно знает, что бабушка Лида всё время посматривает на него: не убежал ли куда, не зашёл ли далеко в море. Бабушка сидит в белом пластмассовом кресле под большим пляжным зонтиком и читает толстую книгу с цветными картинками, где можно узнать всё-всё про птиц, живущих в Средней полосе России. Вадик тоже любит листать эту книгу. Сколько там интересного! Только одного ещё не понял он: что такое средняя полоса?.. У бабули спросить, что ли?

Вадик уже третий раз приезжает с бабушкой сюда, на Азовское море. Ему тут очень нравится. Правда, в самом начале он немножко побаивался такой большой воды, а потом привык к ней, подружился. Может, поэтому так ласково её шипучая пена щекочет ему пятки? Как другу?

Папа и мама не хотят ехать к этому тёплому морю. Они говорят: «Мы опять на Камчатку поедем. Мы любим Тихий океан!»

Они рассказывали Вадику о Долине гейзеров, где можно купаться в

Вьюгина Светлана Васильевна, член Союза писателей России, секретарь Правления Союза писателей России, детский писатель. Автор нескольких книг детской прозы. Живёт и работает в Москве.

горячей воде даже зимой, когда вокруг лежит снег, о бьющих из-под земли фонтанах, о необыкновенных растениях… Там, говорила мама, даже лопухи такие огромные, они могли бы всей семьёй — папа, мама, бабушка и Вадик — спрятаться от дождя под одним-единственным листом! А ещё на Камчатке дымят вулканы, а в ручьях и речках плещется много рыбы; есть там и медведи — любители спелой малины…

В городе, где живёт Вадик, нет ни океана, ни моря, есть только реки — Сейм и Тускарь. «Но это тоже замечательно, что у нас есть целых две реки! Многие, вон, в пустыне живут, там стакан воды дороже всякого золота, говорила учительница. А у нас-то богатство какое под боком — один Сейм чего стоит! — и красотища какая!»

Вадик встаёт и осторожно заходит в воду. Осторожно потому, что скоро под ногами появится золотая сеть; она всегда хорошо видна сквозь прозрачную воду. Сеть лежит на самом дне и тихонько подрагивает, совсем, как живая. Вот он и не хочет на неё наступать… Лучше её обойти стороной.

Вадик идёт дальше и чувствует ногами, что дно стало, как и вчера, как и позавчера, совсем другим: тут вот было ровно-ровно, а сегодня — какие-то ямы, бугры… А там, где он недавно спотыкался на подводных кочках, сегодня — гладко-гладко… Море каждый день переделывает своё дно. Оно не может жить без дела, оно не может быть спокойным, оно всё время волнуется. И каждый день море выносит на берег что-то новенькое и будто бы говорит:

— Посмотри… это — гладкие светлые камешки; это — пышные шапки пены; это — зелёные, скользкие заплатки водорослей, похожие на фантастических осьминогов…

Вот она, та самая золотая сеть!.. Трепещет в воде, стелется на песчаном дне… Кто её придумал? Какая добыча попадет в её мягкие объятья? Рыба? Или его ноги и руки? Вадику она, сеть, снилась недавно: она сияла на потолке, на полу, на стенах их комнаты, а незнакомый белый котёнок, лёжа на боку, вскидывал когтистую лапку, пытался поймать подвижные золотые ячеи…

Вадик никому не рассказывал об увиденном во сне и наяву. А может, сегодня рассказать бабушке? Всё-таки они друзья. И разве ему жалко поделиться с ней радостной тайной? Ведь, если делишься с друзьями чем-то хорошим, то хорошего становится больше.

КАКОЕ ОНО, МОРЕ?

Троллейбус, плавно поворачивая то направо, то налево, вёз пассажиров всё дальше и всё выше, на какую-то гору, на какую-то незнакомую Лаврику высоту…

Вдоль дороги мелькали высокие деревья и широкие зелёные кусты, сновали туда-сюда птички, а иногда высоко над лесом проплывали большие птицы.

И вот как-то разом в троллейбусе стало светлым-светло, и Лаврик увидел в окне большой-большой простор, какое-то поле…

Папа тоже приблизил своё лицо к широкому стеклу и улыбнулся этой открывшейся в один миг дали.

Лаврик внимательно всматривался в заоконное пространство — и вдруг откинулся, припал спиной к отцу и зашептал горячо, указывая пальчиком:

— Папа, папа, посмотри: там шевелятся большие-большие, огромные лопухи!..

— Ты что!.. Какие ещё лопухи?

— Да вон же, вон… Видишь? Как у бабушки за огородом!

— А-а! — Вглядевшись, папа негромко рассмеялся. — Да разве это лопухи? Это же волны! Там море, Лаврик. Ты понял? Море, сыночек, море!

Лаврик первый раз видит настоящее море. Край моря видит. А какое оно всё, это море? Почему к нему едут люди?

— Детское море? Ты говорил, и мама говорила… Это — Детское море?

— Вот если бы подъехали к морю у города Анапа, то было бы оно Детским, а здесь, у Алушты и Ялты, оно всегда называется Чёрным. Хотя, конечно, тут много детей бывает: купаются, путешествуют… И Артек тут есть, в нём только ребята-школьники отдыхают

— А почему море Чёрным ты назвал? Оно же зелёное…

— Да, Лаврик, оно зеленоватое. Но — сейчас. А когда буря, шторм, волны к берегу мчатся высокие, тёмные-тёмные, почти чёрные…

Лаврик и папа едут отдыхать вдвоём, на тёплый берег моря, в красивый городок Алупка, там и дворец есть… Пока вдвоём, — через пять дней (столько на одной руке пальчиков) к ним приедет мама, через пять дней её отпустят с работы, и она приедет не поездом, а самолётом. Примчится к ним по синему небу.

Лаврик с удивлением глядит на острые, очень высокие деревья (кипарисы, — говорит папа), на белые дома и домики, стоящие на боку горы, на белое облако в голубой выси, на широкую-широкую беспокойную воду впереди… Ничего такого у них в Медыни нет. Там тоже всё красивое, только совсем другое.

Папа тоже молча любуется такой удивительной картиной за окном и, приобняв Лаврика большой тёплой рукой, чуть-чуть улыбается… Через пять денёчков к маленькому Лаврентию прилетит-примчится ***она***. И втроём им будет совсем хорошо на берегу Чёрного летнего моря!

ШТОРМ

— Что там такое? — Лиза проснулась первой и тут же стала тормошить сестрёнку Вику. — Что там шумит, слышишь?

— Слышу… — Вика приподнялась и тоже села на постели и скрестила ножки. Точь-в-точь, как Лиза. Они сёстры-близняшки и потому всё делают почти одинаково, они — живое отражение друг друга.

За посвистом ветра снаружи дома слышался какой-то странный шум или гул. Это — не машины на ночной улице… Это — не зимняя вьюга или буран… Это — не гром…

— Что это? — не могла никак понять Лиза.

— Что это? — повторила Вика. — Совсем непонятно!

Они посидели ещё немного и… дружно повалились на постель и, обнявшись, тут же уснули.

***

— Доброе утро, зайчата! Ну как, выспались?

Сестрёнки открыли глаза и уставились на папу. Он уже был в шортах, в белой майке и в синей кепке с длинным козырьком. И от него пахло свежим-свежим воздухом.

— А я был на берегу, взглянул, можно ли с утра купаться. Ночью море так шумело, шторм был…

Вика и Лиза переглянулись. Их ведь тоже разбудил ночью какой-то шум-гул.

— Какой шторм? — хором спросили они папу.

— Шторм?.. Это когда море волнуется.

— А почему оно волнуется? Пропало что-то?

— А кто его разволновал?

— Малышки мои, несмышлёнки! Если говорят, море волнуется, то имеют ввиду, что на море появляются большие волны, высокие волны. Они раскачивают даже огромные теплоходы, они идут к берегу, выпрыгивают на песок и так бабахают в бетонный парапет, так,что земля дрожит! Шторм — силища большая! Шторм — это буря на море. А всему виною сильный ветер, понятно?

— Привет, девчонки! — В дверях появилась мама. Красивая, в халате, украшенном васильковыми цветочками. — О чём вы тут громко беседуете?

— Привет!

— Привет!

— Там был шторм!..

— Шторм!..

— Зонтики пляжные разметало, лежаки — тоже… Хотя вроде и далеко от воды были. Так что, купаться пойдём позже, когда на пляже порядок наведут, да и вода почище станет…

После завтрака и чтения книг (у сестёр есть свои, детские, с картинками, а у мамы и папы — свои, толстые, без картинок) все, взявшись за руки, отправились к морю.

Коротким переулком они спустились к пляжу. И остановились. Море, усыпанное мигающими золотыми звёздами, светилось каким-то мягким сиянием и блеском, дышало ласково и радостно. Неровная полоска пены то появлялась на мокром песке, то исчезала… Далеко-далеко, там, где небо и вода сошлись вместе, стоял белый-белый кораблик. А слева, недалеко от берега, кружились белые-белые чайки… Солнце нежно обняло девочек за плечи, дохнуло теплом в лицо и велело прищуриться. Потому что вокруг было слишком красиво!

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

Главный редактор
Галина Студеникина

Редактор отдела прозы
Ксения Баштовая

Редактор отдела поэзии
Дмитрий Ханин

Редактор отдела
публицистики
Павел Малов

Дизайнер вёрстки
Виктория Анистратова

Художник
Михаил Никулин

Директор издательства
«Донской писатель»
Алексей Береговой

Вечерние облака над древней столицей донского казачества — Старочеркасском